

Михаил Волконский

Черный человек



Михаил Николаевич Волконский
Черный человек
Серия «Вязниковский
самодур», книга 2

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22811113

Аннотация

«С самой смерти Петра Великого почти сто лет правили Россией женщины. Наследовала Петру Екатерина I, супруга его; миновало кратковременное царствование Петра II, вступила на престол Анна Иоанновна; после нее недолго правила как регентша Анна Леопольдовна, ее сменила Елизавета, дочь Петра, а затем, после опять-таки короткого промежутка, когда на престоле был мужчина Петр III, стала править императрица Екатерина II, названная историею Великою...»

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	16
V	26
VI	30
VII	36
VIII	42
IX	46
X	54
XI	61
XII	70
XIII	74
XIV	81
XV	88
XVI	95
XVII	101
XVIII	105
XIX	114
XX	122
XXI	130
XXII	138
XXIII	145

XXIV	157
XXV	161
XXVI	165
XXVII	168
XXVIII	175
XXIX	182
XXX	186
XXXI	195
XXXII	206
XXXIII	211
XXXIV	218
XXXV	223

Михаил Волконский

Черный человек

I

С самой смерти Петра Великого почти сто лет правили Россией женщины. Наследовала Петру Екатерина I, супруга его; миновало кратковременное царствование Петра II, вступила на престол Анна Иоанновна; после нее недолго правила как регентша Анна Леопольдовна, ее сменила Елизавета, дочь Петра, а затем, после опять-таки короткого промежутка, когда на престоле был мужчина Петр III, стала править императрица Екатерина II, названная историею Великою.

Это почти столетие женского правления в России приучило «общество», то есть людей, близко стоящих ко двору, и людей, близко стоящих к этим людям, к мягкому снисходительному обращению, изнеженности и роскоши.

Придворные стыдились два раза показаться при дворе в одном и том же платье, а это платье, благодаря тогдашней моде расшивать его драгоценными камнями, жемчугом, шелками и золотом, стоило не десятки, а тысячи рублей.

Простые смертные, богатые помещики заводили у себя целые штаты, по образцу большого двора. Пройтись по улице пешком считалось неприличным – требовался собствен-

ный экипаж, запряженный четверней или шерстеркой цугом.

Утонченность кухни достигла баснословных размеров, и поварское дело было возведено на степень искусства, как в Риме во время упадка его. Явились расточители, доходившие почти до безумия в своих тратах, иногда совершенно бесцельных и ненужных. Жарили, например, себе жаркое не на дровах, а на корице. Сколько надо было сжечь этой корицы, чтобы блюдо было готово! Ванны себе делали не только из сливок, но и из земляники. Кружев на кафтан нашивали на десять тысяч рублей. Устраивали пиры, на которых на блюде подавались грудой бриллианты и алмазы, и гости брали их себе горстями. На воду кидали – как дети кидают камешки, чтобы они прыгали рикошетом, – чистые червонцы и забавлялись этим. Крепостной челяди держали в хоромах многое множество не только для себя, но даже для собачек. Кроме этой челяди, при господах состояли приживалки, карлицы, арапки и арапчата, стоившие огромных денег. В конце царствования Екатерины дошло наконец до того, что гвардейские офицеры ездили по городу не иначе, как в каретах цугом и с муфточками.

В ноябре 1796 года скончалась императрица Екатерина, и на престол вступил император Павел Петрович, не юный уже летами, как были Петр II и Петр III.

Павел Петрович, будучи наследником престола, вел жизнь уединенную, удалившись из Петербурга в Гатчину, где у него были заведены свои строгие порядки. В своем гатчинском

уединении, в котором он провел долгие годы зрелым уже человеком, он, видимо, много думал о государственном благоустройстве и готовился к будущей своей деятельности государя огромного русского царства. Живым свидетельством этому служит ряд указов, один за другим последовавших немедленно по восшествии на престол Павла Петровича. Нет, кажется, отрасли государственного хозяйства и управления, которой бы не коснулись эти указы.

Началась живая, деятельная работа. В войске быстро была введена дисциплина. Гвардейские офицеры оставили свои кареты и муфты и должны были являться на парад в мундире, по форме.

Конечно, это казалось тяжелым. Меры, принятые императором Павлом против роскоши и расточительности, явились для изнеженных бар того времени чем-то ужасным. Ограничение разгула было сочтено за ограничение свободы, но император продолжал требовать резкого изменения прежних условий жизни, подавая сам пример скромности и воздержанности.

Он хотел произвести ломку прежней жизни быстро и настойчиво, но общество, в течение столетия привыкшее к ней, противодействовало, подчинялось только по виду, и благие намерения Павла Петровича не приносили желанных результатов.

На ближайших помощников Павел Петрович был тоже несчастлив. Он не находил нужных людей, а большинство

тех, на которых ему приходилось возлагать исполнение приказаний, исполняли их без должного разума, часто совершенно изменяя самый смысл их.

Так, с первых же дней царствования Павла Петровича у Зимнего дворца был поставлен ящик, куда всякий мог класть прошения на имя государя. Сделано это было для того, чтобы государю знать непосредственную правду. Однако этой правды многим пришлось бояться. И вот, чтобы уничтожить этот опасный ящик, были положены в него такие прошения и подметные письма, что пришлось действительно снять его.

II

Вскоре после уничтожения ящика у памятника Петру I на Сенатской площади, у самой решетки, где стоял часовой, появилась женщина. Одетая она была прилично, даже богато – в теплый меховой салоп и атласный капор, из-под которого выглядывало красивое личико. Появилась она у памятника и простояла целый день, с утра до вечера.

Часовому на посту не полагается разговаривать. Он не спрашивал женщины, но будочник – или алебарщик, по-тогдашнему, – подошел и спросил, что ей нужно.

– Разве нельзя стоять? – скромно спросила она в свою очередь.

– Нет, стоять можно – место здесь общественное...

– Ну, вот я и стою...

Что с ней было делать?

И на другой день тот же будочник опять на том же месте увидел ту же, одетую в хороший меховой салоп, женщину. Она стояла тихо, скромно...

И на третий день то же самое.

Будочник доложил околоточному, что вот третий день-де стоит у памятника Петру I женщина, никаких предосудительных поступков не делает, но стоит. Околоточный велел позвать его, если она придет и на четвертый день.

Женщина пришла. Будочник сбегал к околоточному – тот

явился к памятнику. Видит, стоит женщина, хорошо одетая, стоит смиренно, и спрашивает ее:

– Что вам угодно?

– Это, – отвечает она, – я скажу не вам, а только тому, кто постарше вас.

Околоточный не обиделся, потому что, во-первых, личико у женщины было хорошенькое, а, во-вторых, одета она была хорошо. Махнул он рукой, ушел, но, видимо, заинтересовался.

– А что, барыня у памятника стоит? – спросил он на другой день у алебардщика.

Тот ответил, что стоит.

Околоточный доложил тому, кто был чином повыше его, что появилась у памятника Петру I женщина. Тот тоже любопытствовал.

Так стояла эта женщина недели уже две. Доклад о ней наконец дошел до самого генерал-полицеймейстера.

– Прогнать! – приказал тот спервоначала.

Ему возразили, что прогонять не за что, так как женщина стоит, дурного ничего не делает, и притом личико у нее хорошенькое, а одета она прилично.

– Ну, хорошо, я сам съезжу, посмотрю! – согласился генерал-полицеймейстер.

Через несколько дней проезжает он мимо памятника, видит, как ему было доложено, стоит женщина в меховом салопе у решетки. Вышел он из саней, подошел к ней и спросил:

– Что вам угодно, сударыня?

– Это, – говорит женщина, поглядев на него, – я скажу одному только государю.

– Государя так нельзя видеть, сударыня, – отвечает он. – Ступайте домой.

– А разве нельзя здесь стоять? Ведь тут место общественное!

Генерал-полицеймейстер пожал плечами:

– Стойте, если угодно!..

Женщина опустила голову и осталась стоять.

Генерал-полицеймейстер велел в ежедневных рапортах между прочим доносить ему, стоит ли женщина у памятника Петру. Ему стали ежедневно доносить, что стоит.

Раз как-то случилось, что на докладе, когда государь был в хорошем расположении духа, генерал-полицеймейстер рассказал ему, что стоит-де у памятника Петру вот уже несколько времени женщина, прилично одетая, и хочет рассказать что-то, но только ему одному, государю. Государь велел привести ее к нему.

И вот однажды рано утром явился к памятнику генерал-полицеймейстер и нашел женщину в салопе на обычном ее месте. Он взял ее и сам повел во дворец.

III

Государь вставал рано. Первый доклад у него был генерал-полицеймейстера. Когда тот явился, государь спросил:

– Ну, а что женщина у памятника?

– Она здесь, ваше величество.

Государь велел провести ее в свою, смежную с кабинетом, библиотеку и вышел к ней туда.

– Я – бывшая крепостная, а ныне вольноотпущенная князя Гурия Львовича Каравай-Батынского – Авдотья Иванова, – пояснила женщина на вопрос, кто она такая.

Государь оглядел ее. По виду, платью, манерам не похожа она была на вольноотпущенную крепостную.

– Ты – бывшая крепостная? – переспросил он.

– Актриса, ваше величество.

– Служила, значит, в труппе у князя?

– Моего благодетеля.

Нахмурившееся было лицо государя прояснилось.

– Значит, пришла не жаловаться на притеснения?

– Нет, ваше величество. Князь Гурий Львович скончался нынче осенью...

О внезапной и страшной смерти князя Каравай-Батынского знали уже и говорили по всей России. Вспомнил и государь о ней.

– Это – тот, – сказал он, – которого нашли в его спальне

сгоревшим?

– Так точно, ваше величество. Нашли только голову, руки и ноги, а вместо туловища была грудa маслянистой сажи.

– Говорили, – перебил государь, – что сгорел он от спирта, которым натирался.

– Говорили так, ваше величество, но, насколько это – правда...

– Так об этом ты и пришла сказать мне?

Авдотья Иванова, или просто Дунька, как звали эту женщину, когда она служила в труппе князя, повалилась государю в ноги.

– Ваше величество! Одна-одинешенька на свете я. Помочь мне некому и заступиться за меня тоже некому... Начни я доносить по порядку – меня бы слушать не стали... Да и как мне тягаться с сильными людьми? Они теперь сильнее меня.

– Постой! – остановил ее государь. – Встань и рассказывай! На кого ты доносить хочешь?

– Не смею ни на кого доносить, – заговорила Дунька, встав, – а только совершилось нынче осенью в Вязниках, имении князя Каравай-Батынского, злое дело – нашли князя мертвым так странно и предали происшествие воле Божьей. Я как верная раба его бывшая не могу молчать и решила дойти до вашего величества. Если удастся, дескать, дойти – значит, вы меня выслушаете, потому что над таким вельможей и вдруг такое дело случилось...

Дунька говорила толково и разумно.

Загадочная смерть Каравай-Батынского не могла не вызывать интереса. По-видимому, эта бывшая крепостная что-то знала, что могло пролить свет на это темное дело. Государь подумал и проговорил:

– Говори, что знаешь!

– Знаю я, ваше величество, что жил покойный князь в здравии полным, принимал гостей хозяином хлебосольным. Вдруг среди этих гостей явился некий дворянин Александр Ильич Чаковнин, человек силы непомерной; сошелся он и вступил в дружбу с господином Труворовым, Никитой Игнатьевичем, тоже гостившим у князя. К этому времени приехала из Москвы обучавшаяся там актерскому искусству крепостная князя Марья, а за нею явился в Вязники некий Гурлов, офицерского чина, влюбленный в нее еще в Москве. И стал досаждать он князю. Однажды прямо на его жизнь покушался – канделябром в него бросил бронзовым. С этим Гурловым столкнулись господа Чаковнин и Труворов. Они покровительствовали ему и укрыли его от поимки, после того как он на князя покушался. А Гурлов добивался, во что бы то ни стало, ту крепостную актерку высвободить... И много они досад покойному князю учинили, пока наконец не нашли в спальне князя мертвого.

– Только и всего? – спросил государь.

– Не осмелилась бы я тревожить ваше величество, если бы только всего и было. Досады от этих господ князю – до-

садами, а вот после смерти его оказалось, что жил в Вязниках – под видом княжеского парикмахера при театре – не кто иной, как наследник прямой князя, родственник его, тоже князь Каравай-Батынский. Жил он, однако, скрываясь, и только в самый день смерти князя объявился наследником, а до тех пор все мы знали его парикмахером – и больше ничего. Получил он теперь наследство после внезапной смерти князя и владеет всем имуществом. Гостей всех прежних разогнал. Остались при нем только господа Чаковнин да Труворов, да господин Гурлов, за которого этот новый князь сейчас же крепостную бывшую актрису Марию выдал замуж... Вот что я знаю, ваше величество.

IV

Вернулась Дунька из дворца, добившись наконец своего, и тут только опомнилась, словно от сна. Словно во сне она действовала до сих пор и как бы бессознательно решила на свой смелый план, удавшийся, однако, блистательно. Никто ее не надоумевал.

Получила она вольную вместе со всеми бывшими актерами в Вязниках от нового их владельца и пожелала уехать. Ее никто не задерживал. В течение прежней своей службы удалось ей скопить порядочно деньжонок – не даром считалась она любимицей умершего князя. Гардероб у нее тоже был.

Забрав свои деньги и уложив гардероб, уехала она, сама еще хорошенько не зная – куда. Сначала рассчитывала она, что наймется по своей специальности актрисой в какую-нибудь барскую труппу. Но потом мало-помалу начала ее разъедать тоска по бывалому ее житью в Вязниках.

И стало ей скучно, что вот должна она скитаться, как бездомная, а между тем там, в этих Вязниках, распоряжаются и живут посторонние люди после убитого ее «благодетеля», князя Гурия Львовича. Началось там вместо прежнего разгульного житья другое – скромное, вовсе не то, что было прежде.

Все больше и больше не давало это покоя Дуньке. Она решила, что поедет в Петербург, и отправилась туда, не зная

еще хорошенько, что будет там делать. Натура у нее была такая, что ничего не умела она делать вполонину, и она отважилась на то, чтобы дойти до самого государя. Она была уже осведомлена, что он строг, любит доискаться правды, и надеялась, что, может быть, удастся ей поговорить с ним, как следует.

Ей удалось. Государь выслушал ее, ободрил и велел идти домой.

Ничего об обстоятельствах этой смерти Дунька не знала.

В Петербурге Дунька остановилась на заезжем дворе, в хорошей и чистой комнате (денег у нее было достаточно).

Когда пришла она из дворца к себе домой на заезжий двор, озноб забил ее. Она не волновалась ни тогда, когда генерал-полицеймейстер повел ее во дворец, ни тогда, когда ввели ее туда, ни даже, когда вышел к ней государь и пришлось разговаривать с ним, но теперь, когда все это прошло благополучно, ее так залихорадило, что она подумала, что схватила «лихоманку», простудившись у памятника.

Она велела принести себе горячего сбитня и принялась пить согревающую влагу его, как была в робе и уборе, чтобы поскорее в себя прийти.

Только что расположилась она у столика, как в дверь к ней раздался стук. Он был какой-то странный, сухой – два удара один за другим и потом после промежутка третий. Дуньке даже показалось, что ударили не в дверь, а где-то ближе как будто, точно в самый стол, за которым она сидела. Впрочем,

теперь, после того что случилось с нею утром, все могло показаться ей странным.

Дверь отворилась, и в комнату вошел совсем не знакомый до сих пор Дуньке черный человек. Лицо у него было смуглое, два черных глаза горели, как угли, не покрытые париком короткие волосы, черные, как воронье крыло, вились мелкими кольцами, и весь он был одет в черное. На нем были бархатный черный кафтан с пуговицами темной стали, черный атласный камзол, такое же исподнее платье и черные чулки с лаковыми башмаками.

Дунька при виде этого посетителя невольно оробела и именно потому, что оробела, довольно грубо спросила:

– Кого надобно вам?

Черный человек улыбнулся и ответил:

– Вас.

«Это, должно быть, из дворца!» – сообразила Дунька и встала навстречу гостю.

Уж слишком много потратила она сегодня храбрости и присутствия духа, чтобы продолжать и теперь владеть собою. К тому же этот черный, по виду совсем особенный, человек внушал к себе как-то гораздо более безотчетного страха, чем все те, с которыми до сих пор приходилось разговаривать Дуньке.

«Нет, он не из дворца – он сам по себе», – словно сказал ей внутренний голос, и ей стало еще страшнее.

Она встала и остановилась.

– Ну, чего испугались? – покачал головою гость, – кажется, доказали сегодня, что не робкого десятка, а вдруг испугались...

– Да как же, сударь! – начала Дунька. – Вы изволите входить так ко мне, если я вас вовсе не знаю...

Гость сел против нее к столу, не дожидаясь приглашения, и проговорил:

– И не советую узнавать про меня, кто я такой и что я такое... Не советую... Впрочем, дело не в имени... Я пришел, во-первых, похвалить вас за удачное начало, а, во-вторых, сказать вам, что за это смелое и удачное начало получите вы в дальнейшем помощь.

Дунька приободрилась и спросила:

– От кого же ждать мне этой помощи?

– Это – тоже излишнее любопытство. Не допытывайтесь, потому что все равно ничего не узнаете. А слушайте лучше то, что я говорить вам буду. – И черный человек начал говорить. – Вот, видите ли, есть в вас смелость, и не только смелость, но даже дерзость большая, и это сослужит вам службу. Сегодня вы одна-одинешенька сделали большое дело – добились того, что сам государь выслушал вас. Теперь, вероятно, будет послано на место отсюда доверенное лицо для расследования дела о смерти князя Гурия Львовича Каравай-Батынского. Вероятно, лицо это возьмет вас с собою в Вязники и будет руководствоваться вашими показаниями. Сможете ли вы так же продолжать, как начали?

Дунька внимательно посмотрела на своего неведомого гостя. По-видимому, этот странный человек отлично знал все дело, по которому она приехала сюда. Но так сразу не могла она разобрать, истинно ли хочет он помогать ей или же нарочно прикидывается помощником, чтобы лучше противодействовать ей. Она всегда предполагала в чужих людях скорее дурное, чем хорошее.

– Я не знаю, что будет дальше, – ответила она, – но поступала до сих пор по искреннему своему усердию, потому что покойный князь Гурий Львович был моим благодетелем...

Черный человек, смеясь, перебил ее:

– Напрасно со мной-то хитрите, Авдотья Иванова!.. Князь – князем, а главное дело: не сиделось вам на месте, хотелось смутянить да роль какую ни на есть играть, и это, по-моему, гораздо лучше, чем там разные воспоминания о благодетелях!.. Вы это для обыкновенных людей берегите и говорите им, а я вас насквозь вижу.

– Значит, вы – как величать вас не знаю – считаете себя человеком необыкновенным? – вдруг спросила Дунька, которая рассердилась, потому что почувствовала правду в его словах.

– Эх, большой задор в вас! – одобрил ее, не смутившись, черный человек. – Вы именно такова, какую я представлял вас себе – из вас выйдет толк. Вы напрасно не верите мне...

Дунька удивилась.

– Разве я вам это сказала? – проговорила она.

– Не сказали, а все равно в мыслях не верите. Да оно и понятно: пришел человек с ветра, имени своего не говорит, а помощь обещает; может, и предатель какой, наверное даже предатель... Не правда ли?

– А хоть бы и так!

– Ну, вот видите! И такая черта похвальна в вас и тоже доказательством служит, что не ошибся я в вас. Очень хорошо-с. Ну, так вот-с, верьте вы мне или не верьте, а по первому разу совет я вам дам: лицо, что поедет с вами на расследование, вероятно, будет граф Косицкий. Служит он в сенате при обер-прокуроре. Человек он не молодой, но и не старый, и к женскому полу большую склонность чувствует. Так вот не упускайте случая и обойдите его, как сумеете; он легко поддается и в ваших руках будет.

Дунька растянула рот в широкую улыбку. Ее учили таким вещам, которые она и без всякой науки знала.

– Видно, ученого учить – только портить! – произнес черный человек. – Это вы и сами все оборудуете. Это – не шутка. А вот, как в Вязники приедете, там придется вам много борьбы вынести. Против сильного человека вы затеяли борьбу.

– Ни против кого борьбы я не затевала, – начала было Дунька.

– Ну, как же! Нынешнего владельца Вязников, князя Михаила Андреевича Каравай-Батынского, прямо в убийстве покойного князя, от которого наследство досталось ему, об-

винили.

– Я лишь рассказала, что знаю, и никого не обвиняла.

– И хорошо сделали. Так именно и надо было поступить. Но только князь Михаил Андреевич – сильный человек, и не деньгами силен, не полученным наследством, и не знатностью рода или своим положением. Все это есть у него, но не в этом его главная сила...

– А в чем же?

– В чем? Этого не поймете вы и не узнаете. Только побороть его трудно будет. Так вот, если нужна вам будет помощь когда, то дайте мне знать – я помогу вам... Понимаете – я!..

Дунька пожала плечами, все еще не доверяя.

– Как же я вам дам знать, когда вы не говорите мне своего имени и отчества?

– Очень просто! – черный человек вынул из кармана кусок тонкого картона, на котором был изображен остроносый черный профиль силуэтом, достал складной ножик и разрезал картон неправильным зигзагом. – Вот, – сказал он, – один отрезок я оставлю у вас, а другой унесу с собою. Тот человек, у кого в руках увидите этот другой отрезок, будет от меня, и ему вы можете сказать, что нуждаетесь во мне, когда вам в том будет потребность... Я явлюсь. Вот и все. Поняли?

Дунька ничего не поняла, но отрезок картона с половиной носатого профиля взяла.

– Только я не понимаю, – сказала она, – зачем вы все это делаете?

– И не надо понимать вам. Помните, что я никаких условий вам не ставлю и ничего не требую от вас. Просто говорю: в трудную минуту для вас явится возле вас человек, у которого в руках будет другой вот отрезок – ему вы можете сказать, что нужен вам черный человек. Он заставит вас повторить это три раза. Повторите. Только будьте осторожны, сверьте раньше, приложите тот отрезок, что у вас, к тому, что вам покажут, точно ли он придется по обрезу... А затем до свидания. Денег не нужно вам?.. На всякий случай я оставлю, деньги всегда пригодятся. – Он встал, вынул из кармана кошелек и положил его на стол. – Ну, до свидания! – повторил он, направляясь к двери.

Дунька, убежденная положенным кошельком больше, чем всеми словами этого странного человека, присела ему, согласно этикету, и проговорила:

– Прощайте!

– Я говорю не «прощайте», а «до свидания», – поправил он ее. – Мы еще увидимся с вами.

И с этими словами он вышел.

В кошельке оказалось двадцать пять червонцев – сумма по тогдашнему времени не маленькая.

Пересчитав и спрятав деньги, Дунька выскочила из своей комнаты в коридор. Там Мавра, служанка на заезжем дворе, рябая, подслеповатая, мыла посуду.

– Ты видела, кто был у меня? – спросила ее Дунька.

– Когда?

– Да вот сейчас.

– Никого не видала.

– Да ты все время была тут? И не уходила никуда?

– И не уходила никуда.

– И никого не видела?

– Никого.

Дунька опросила всех домашних, но никто ни на дворе, ни в доме не видал черного человека, приходившего к ней.

Как бы то ни было, но оставленные им деньги были налицо и отрезок картона тоже.

Мало того – все, что говорил черный человек, пока оправдалось.

Действительно, для расследования дела о смерти князя Гурия Львовича Каравай-Батынского было назначено особое лицо, и им оказался состоящий при обер-прокуроре сената граф Косицкий. Он призывал к себе Дуньку, долго расспрашивал ее, записал все, что она ему сообщила, и приказал ей готовиться к отъезду, заявив, что возьмет ее с собою.

В первый раз она пробыла у графа сравнительно недолго, и принял он ее, не посадив, а заставив рассказывать стоя. Вскоре он снова призвал ее к себе, и на этот раз она оставалась у него гораздо дольше, и граф посадил ее.

Чем ближе шло дело к отъезду, тем чаще и чаще посещала графа Дунька и наконец стала ходить к нему по вечерам. Видно, граф принялся за расследование дела очень ретиво, если понадобился такой частый допрос бывшей актрисы, хо-

рошенькой собой Дуньки, прошедшей школу знаменитого в свое время вязниковского самодура Каравай-Батынского.

После двухнедельных сборов выехал из Петербурга на расследование граф Косицкий в большом сравнительно поезде, с секретарем и прислугой, в нескольких возках. В одном из них помещалась Дунька. На полпути до Москвы пересела она в возок к самому графу и продолжала дорогу уже в этом возке.

V

Шумные, наполненные гостями при прежнем владельце, Вязники совершенно изменили свой характер.

Актеры бывшей труппы были отпущены на волю. Страшные подвалы, где производилась иногда кровавая расправа, заколочены. Дворня была распущена, мужики, несшие прежде непосильную барщину, переведены на оброк.

Флигель, где прежде по месяцам жилали гости, спешно перестраивался под больницу. Парадные комнаты большого дома отапливались, но почти никогда не освещались по вечерам и днем пустовали.

Жилую часть в доме составлял коридор с примыкавшим к нему рядом комнат. Тут были и кабинет, и спальня нового владельца, князя Михаила Андреевича, и комнаты, где жили его новые друзья: Чаковнин, Труворов и Гурлов с молодой женой.

Теперь в Вязниках ложились рано, и в десятом часу вечера, после общего ужина, все расходились, и жизнь затихала.

Никита Игнатьевич Труворов находился в периоде бессонницы, которая иногда вдруг сменяла у него почти болезненную спячку. Он ложился спать, медленно и методично снимая с себя свое одеяние, зная, что не заснет скоро, и нарочно возился дольше, чем это нужно было, чтобы протянуть время. Но, как ни тянул он, все-таки, когда он наконец

очутился в колпаке и ночной сорочке в своей постели, сон не приходил к нему. Витая свеча горела на ночном столике. Никита Игнатьевич развернул большой кусок ее и выпрямил – пусть горит еще долго, тушить он ее не станет.

Но бессонница не казалась ему мучительной. Он любил даже так вот лежать на кровати, с заложенными за голову руками, и думать... Он думал о том, что хорошо жить на свете, когда кругом добрые, хорошие люди, а такими добрыми и хорошими казалось ему большинство. Тех же, которые делали дурно и были злые, он не ненавидел, но жалел и старался найти в них все-таки хотя что-нибудь хорошее.

Теперь его окружали только добрые, по его мнению, люди, очень добрые, и ему было хорошо среди них. И спать было хорошо, и не спать – тоже. Если лежать так и не спать – можно было думать о том, какой мягкий, тихий человек князь Михаил Андреевич, какая славная Маша, которую выдали они за Гурлова, и как тот любит ее и счастлив с нею.

Так лежал Никита Игнатьевич и думал.

Вдруг он ясно услышал, что в коридоре скрипнула половица. Во всем доме была тишина, и за окнами на дворе ничего не было слышно. Погода стояла тихая, ветра не было. Будь зимою мухи – их полет можно было бы различить. Никита Игнатьевич приподнял голову и прислушался. Снова скрипнула половица. Труворов еще напряг слух: по коридору шел кто-то. Теперь не было в этом сомнения.

– Кто бы это мог быть и кому понадобилось ночью идти по

коридору в сторону комнаты князя Михаила Андреевича?

Судя по скрипу, шаги направлялись именно к комнате князя.

Труворов спустил ноги с кровати, вдел их в туфли, накинул ватный шлафрок, потушил свечу, подкрался к двери и, тихонько приотворив ее, прильнул глазом к щели.

Коридор был тускло освещен масляной лампой, горевшей в конце его. При бледном свете этой лампы Никита Игнатьевич увидел женскую фигуру, ощупью пробирающуюся на цыпочках. Она шла, тихо ступая, но не пробуя и не выбирая половиц, чтобы не скрипели они. Она подвигалась вперед по прямому направлению, не оглядываясь, но Труворову показалось, что он узнал ее. Это была Маша, жена Гурлова.

Она уже миновала дверь, у которой стоял Труворов, и он высунул голову в коридор. Маша (теперь он увидел, что это была она) прямо направилась к двери в кабинет князя Михаила Андреевича, отворила ее и вошла.

Труворов подумал в первую минуту, что он спит, и то, что он только что видел, было не наяву, а во сне – таким несуразным оно показалось ему.

Он притворил дверь, нащупал на столе серники, зажег свечу и потрогал будто нечаянно сам для себя ее пламя. Показалось горячо – он не спал. В таком случае как же это Маша ночью потихоньку прошла в кабинет к князю?

Какие объяснения ни старался найти Никита Игнатьевич – ни одно не могло иметь даже тени правдоподобия. Он

развел руками и заходил по комнате.

Он ходил так очень долго, пока наконец опять не слышались шаги Маши по скрипучим половицам коридора. Труворов опять в щель своей двери видел, как она прошла из кабинета князя в свою комнату.

VI

Дунька совершила долгий переезд из Петербурга в возке графа Косицкого вполне благополучно.

Прибыли они в губернский город, в округе которого находились Вязники, и Косицкий остановился не у губернатора, а в частной, нанятой для него заранее посланным дворецким, квартире. Дуньку поместил он в единственной в городе гостинице.

Кроме нее, его самого и его секретаря, никто в городе не должен был знать до поры до времени истинной причины его приезда. Губернатор был осведомлен о том, что граф прислан из Петербурга со значительными полномочиями, что приказано было выдавать ему, по его требованию, всякие дела, не исключая и секретных, но, по какому именно делу явился он, губернатор не знал.

К Косицкому Дунька пробиралась теперь тайком, а остальное время сидела большею частью у себя дома в гостинице, опасаясь слишком часто показываться на улицах, чтобы не возбудить лишних толков. Она или спала целый день, или просто лежала на постели, или сидела у окна и смотрела на прохожих. Когда она не спала, то непременно жевала что-нибудь сладкое.

Такая ленивая жизнь не была противна ей и не утомляла ее ни своей скукой, ни однообразием. Полная праздность

пришлась по душе ей. Она быстро и энергично повела себя с графом Косицким и в настоящую минуту не желала ничего большего. Даже теперь дело, по которому она ездила в Петербург и ради которого граф приехал с ней, отодвинулось для нее на второй план, потеряло свой острый интерес, и она перестала думать о нем, с каждым днем все более и более предаваясь лени и праздности.

Раз, когда Дунька сидела так у окна, к последнему подошел продавец с коробом. Таких продавцов ходило много тогда по городам и селам, и не было ничего удивительного, что один из них подошел к окну гостиницы, заметив там молодую женщину. В коробах носили всякую всячину, до которой падки франтихи, – притиранья, зеркальца, пудру, дешевые колечки и сережки, блошинные ловушки, а кроме того, у этих продавцов часто бывали и разные эликсиры жизненные, капли любовные, нашептанный вода и талисманы. Дунька заметила продавца и стала присматриваться к нему. Лицо его показалось ей знакомо. Она положительно где-то видела этого человека.

Он заглянул к ней в окно. Блеснули его черные, как угли, глаза, и Дунька сейчас же узнала в коробейнике того черного человека, который приходил к ней незванный в Петербурге.

Он говорил что-то, что нельзя было разобрать из-за двойных рам, и махал руками, показывая на короб; очевидно, он предлагал свой товар и просил, чтобы его впустили.

Одет он был вполне подходяще к своей роли – в тулуп и

валенки, а на голове у него была высокая баранья шапка. Но лицо у него оставалось бритое, и был он похож на цыгана.

Сначала Дунька отстранилась было, и в душе дорого бы, кажется, дала, чтобы черный человек прошел мимо. Но он оставался под окном и продолжал махать руками.

Дуньку сейчас же взяло любопытство – зачем он пожаловал вновь к ней? Она позвала прислуживающего и велела привести продавца.

Тот вошел с прибаутками и ужимками, так же точно не изменяя себе ни в чем, как неизменно казался барином в первое свое посещение.

– Барыня, хорошая, разные средства верные имеем... Купи, барыня хорошая! – бормотал он, разворачивая свой короб, а, как только ушел приведший его слуга, выпрямился, достал из кармана отрезок картона с частью черного профиля и произнес своим, уже знакомым Дуньке, сухим и твердым голосом: – Если вы не узнали меня, то, наверно, помните условный этот знак.

– Я вас узнала, – ответила Дунька, не обинуясь. – Только вы, помнится, говорили, что с этим картоном явится ко мне кто-то, когда мне нужна будет помощь.

– А явился я к вам сам, потому что вам в данную минуту нужна помощь, и очень серьезная.

– Постойте, – остановила его Дунька. – Как же вы явились? Из Петербурга, значит?

– Ну, что ж тут удивительного? Ведь вы тоже приехали

сюда из Петербурга. Дело не в том...

– Да, но мне пока никакой помощи не нужно. Все идет хорошо.

– Вы думаете? – Он пожал плечами, и губы сложились у него в несколько презрительную улыбку. – Из-за того, что вам удалось так легко, как я говорил вам, обвести графа Косицкого, вы готовы уже сложить руки? Вы думаете, дело сделано? Вы успокоились и не хотите палец о палец ударить? А между тем там действуют...

– Где «там»? – переспросила Дунька.

– В Вязниках. Там обо всем уже известно и принимаются меры. Не приди я сегодня к вам – может быть, было бы поздно.

– Как же «там» могут действовать, когда никто в городе не знает, зачем сюда приехал граф? – удивилась Дунька.

– В городе, может быть, и не знают, а в Вязниках знают. В этой гостинице (она ведь одна в городе) остановился сегодня господин Чаковнин. Вероятно, сегодня же он уедет обратно, самое позднее – завтра... Слушайте! У него очень важные документы... Он получил их сегодня здесь и должен отвезти в Вязники. Надо во что бы то ни стало помешать этому, достать у него, взять эти документы. Понимаете? От этого зависит многое...

– Какие документы?

– Ну, объяснять это некогда. Узнаете потом, когда доставите... Теперь сделайте все возможное, чтобы перехватить

их у Чаковнина.

– Это очень просто, – решила Дунька, – я скажу графу Косицкому – он велит обыскать господина Чаковнина, и у него отберут...

– Если б это было так легко! Он не отдаст их ни за что и уничтожит скорее, чем отдаст. Нет, такой силой ничего не возьмешь.

– Тогда как же?

– А вот прелестью женской и красотой вашей вы сделаете тут больше, чем граф Косицкий властью.

Дунька почувствовала себя польщенной.

– Но что же я могу? – спросила она.

– Можете обойти господина Чаковнина, как будто встретясь с ним в одной гостинице. Если захотите, то сумеете... Ну, а потом несколько сонных капель в его стакан... А с сонного легко сымете сумочку с документами. Они, вероятно, у него в сумочке, а сумочка эта на нем...

– Ну, хорошо, если я у него, у сонного, возьму их. А дальше что?

– Дальше – вложите на место взятых документов в сумочку приготовленный заранее пучок бумаги, завяжите сумку и оставьте так, будто не произошло ничего особенного и все у него цело. Не надо, чтобы он спохватился здесь. Пусть везет в Вязники сумку с простой бумагой.

Дунька задумалась. Такие сложные, не простые дела она любила и принималась за них с большой охотой. Поэтому

она тотчас же произнесла:

– Да, но для этого мне нужны сонные капли!

– Сонных капель – сколько угодно, – весело сказал черный человек. – Вот вам флакон – тут не на одного Чаковнина хватит.

Он подал Дуньке флакон и, пожелав успеха, простился с нею, сказав, что зайдет завтра, чтобы узнать, удачно ли она справилась с Чаковниным.

VII

На другой день, в десятом часу вечера, Чаковнин подъезжал к Вязникам, возвращаясь из города. Днем он сбился с дороги, проплутал без пути в поле и только теперь, к вечеру, мог попасть домой.

Его ждали. По его колокольчику выехали ему навстречу верховые с фонарями. Крыльцо большого дома было освещено. Когда Чаковнин подъехал к нему, казачок распахнул двери.

Чаковнину было очень неприятно, что он опоздал. Он знал, что князь Михаил Андреевич ложился уже спать в это время или, по крайней мере, уходил в свои комнаты и был невидим. Между тем князь, прося его съездить в город за документами, которые должен был передать губернатор, придавал им такое значение, что говорил, что только именно ему может поручить их, потому что верит в его обстоятельность. Чаковнин думал, что князь ждет его возвращения с нетерпением и, вероятно, уже беспокоится. Но вина в опоздании была не его.

– Князь спит? – спросил Чаковнин дворецкого, снимая в передней шубу.

– Князь прошли в свои комнаты.

– Должно быть, велели сказать им, когда я приеду?

– Ничего не приказывали.

– Быть не может! Поди, доложи им, что я приехал.

Чаковнин не знал, в чем состояли привезенные им документы, потому что они были переданы ему вчера губернатором запечатанными, но он знал, что они настолько важны для князя, что, несмотря на установленный в Вязниках обычай, по которому никто не смел беспокоить Михаила Андреевича после того, как тот уходил вечером к себе, он решился все-таки велеть, чтобы доложили князю о его приезде.

Дворецкий удивленно посмотрел на Чаковнина и проговорил:

– Я не смею войти теперь к князю.

– Ну, да, я знаю, что запрещено входить, – начал уже сердиться Чаковнин, – и все-таки поди доложи – я на себя беру. Я знаю, что делаю.

– Не смею...

– Ну, тогда я пойду сам, без доклада, – решил Чаковнин и, поднявшись по лестнице во второй этаж, достиг коридора и направился к комнате князя, так что дворецкий едва поспел за ним.

Обогнав Чаковнина у самой уже двери Михаила Андреевича, слуга заслонил ее собою, говоря:

– И вас пропустить не могу-с!

– Как «не могу-с»? – крикнул Чаковнин. – Я тебе говорю, что я знаю, что делаю!

Но дворецкий не сдавался.

– Не могу-с! – повторил он.

Чаковнин, вспылчивый и упрямый, окончательно взбесился. Он схватил дворецкого за ворот и оттолкнул его.

В это время дверь отворилась, и на пороге появился сам князь.

– Что тут такое? – спросил он.

Чаковнин сразу опомнился, и ему стало и неловко, и стыдно.

– Простите, князь, – проговорил он, – это я... Я вернулся из города – днем сбился с дороги...

Михаил Андреевич молча отступил от двери, пропуская Чаковнина в комнату. Тот вошел.

Это был кабинет Михаила Андреевича.

Роскошь отсюда была окончательно изгнана. Стены были просто выбелены. Стол, заменявший письменный, был простой, сосновый, даже не лакированный. По стенам стояли полки с книгами, тоже сосновые. У окна было только большое вольтеровское кресло. На столе горела лампа под зеленым колпаком и лежала раскрытою толстая книга в кожаном переплете.

Князь, введя Чаковнина, показал ему рукою на кресло и сам сел к столу на стул.

– Я привез документы, – сказал Чаковнин.

Никогда не видел он Михаила Андреевича таким, каков он был теперь. Лицо казалось усталым, бледным, и добрые, всегда оживленные глаза князя, обыкновенно, несмотря на его годы, блестевшие, как у молодого человека, словно по-

тускнули и остановились. Было что-то неизъяснимо грустное в его выражении. Он пристально, кротко поглядел на Чаковнина и проговорил, вздохнув:

– Нет, документов вы не привезли мне...

– Как не привез! – воскликнул Чаковнин, поспешно стал расстегивать камзол, затем почти сорвал с себя замшевую, висевшую у него на теле сумочку и, положив ее на стол, проговорил: – Вот они.

– Тут пустая бумага и больше ничего, Александр Ильич! – сказал князь, покачав головою, и, расстегнув пуговицу у сумки, действительно вынул из нее сверток белой бумаги.

Чаковнин посмотрел и убедился, что князь сказал правду.

– Я не знаю, – сердито проговорил он, – губернатор при мне положил эти бумаги в сумку и отдал мне ее. Как она была, так и есть. Я не отстегивал ее.

– Вы не отстегивали ее, – подтвердил князь, – я это знаю, но документы вынуты у вас и на место их положена эта бумага.

– Быть не может! Кто же мог сделать это?

– Черный человек! – проговорил Михаил Андреевич.

Чаковнин посмотрел на князя, точно пред ним был сумасшедший, бредивший наяву, и воскликнул:

– Я никакого черного человека не видал и не знаю!

– Узнаете, может быть, Александр Ильич, а пока он сделал это через Авдотью Иванову, бывшую актрису князя Гурия Львовича.

Холодный пот вдруг выступил у Чаковнина.

Вчера вечером он, встретившись в гостинице в коридоре случайно, как ему казалось, с Авдотьей Ивановой, зашел к ней выпить чаю, потому что она позвала его. Но как об этом мог узнать здесь, в деревне, в нескольких десятках верст от города, князь Михаил Андреевич – он не мог постигнуть.

– Откуда вы знаете, что я встретился с нею? – спросил он.

– Знаю и знаю, что она позвала вас к себе чай пить и вы пошли к ней. Сначала сидели, разговаривали, выпили чай и почувствовали головокружение, потом слабость, потом как бы потеряли сознание и очнулись. Вам показалось, что это длилось одну секунду, так что даже Авдотья не заметила этого, а на самом деле вы были без памяти настолько долго, что она успела спокойно расстегнуть вам камзол, достать сумку, вынуть документы и положить вместо них чистую бумагу... В чае она дала вам одурманивающих капель.

– Ах, забодай ее нечистый! – проговорил Чаковнин. – Но как же вы-то все это узнали?

Князь ничего не ответил.

– Ну, что ж! – сообразил, наконец, Чаковнин. – Если вы знаете, что такую гадость какой-то там черный человек сделал, так скажите, где он. Я готов расшибить его, чтобы отнять документы... Моя вина – я ее исправлю. Сейчас опять снаряжусь в город.

– Нет, Александр Ильич, – перебил его князь, – вина не

ваша, а моя... Верьте, так следовало, чтобы эти документы не попали в мои руки теперь. Рано, значит. И напрасно я ускорить хотел. Теперь сам должен быть наказан... Моя вина, Александр Ильич... Я думал, конец моему испытанию, он был близок, но я сам отдалил его... А теперь спокойной ночи – идите и усните спокойно. Вы не виноваты тут ни в чем.

Из всей этой несколько загадочной речи Чаковнин понял только последнее, то есть, что ему пора уйти, чтобы дать покой Михаилу Андреевичу, и что тот на него не сердится за пропажу документов.

Чаковнина успокоило главным образом то, что князю оказалась известна эта пропажа во всех подробностях. Вероятно, поэтому и меры приняты уже им соответствующие. А как стало это все ему известно – тут мог Чаковнин сказать лишь по своей привычке:

– Ах, забодай его нечистый!

VIII

Гурлов вот уже две недели отсутствовал в Вязниках. Он, по поручению князя, объезжал его дальние вотчины и вводил там новые порядки, везде заменяя барщину оброком. На возвратном пути он должен был заехать в город приблизительно в то же время, когда был там Чаковнин. Они хотели вернуться вместе. Но Гурлов опоздал и явился в город на другой день после отъезда Чаковнина в Вязники.

Ему это было досадно; тем более, что приходилось брать ямских лошадей и тащиться на них вместо быстроногих вязниковских коней. Но, помимо этого, выяснилось и еще гораздо большая неприятность. Оказалось, что ямские лошади заняты под поезд петербургского чиновника графа Косицкого, который уезжал сегодня из города.

Гурлов был в отчаянии. Две недели он не видал своей Маши, тосковал по ней и так определенно мечтал уже о свидании с нею, что неожиданная задержка, отлагавшая это свидание, была для него чувствительным горем.

Он отправился сам на ямской двор, чтобы узнать, куда едет этот Косицкий – может быть, по дороге, – и действительно узнал, что Косицкий едет не только по дороге, но именно в самые Вязники. Поезд снаряжался огромный. Косицко-го сопровождали заседатель, полицейские и судебные чины, кроме его собственного секретаря и бывших с ним слуг.

Гурлов решил действовать прямо и отправился на квартиру к графу просить его о том, чтобы тот взял его с собою. Косицкий принял молодого человека очень любезно, любезнее даже, чем тот ожидал.

– Вы – тот самый господин Гурлов, который женился на бывшей артистке покойного князя Каравай-Батынского, Марье?..

– Дмитриевне, – подсказал Гурлов. – Да, я женился на ней.

– Так. Вы, значит, были в Вязниках во время смерти князя? Да? Очень хорошо. Скажите, правда ли, что нынешний владелец Вязников, князь Михаил Андреевич Каравай-Батынский, долгое время скрывался там под видом театрального парикмахера?

– Правда.

– А вы не знаете, зачем он делал это?

– Понять многие действия Михаила Андреевича трудно, – заговорил Гурлов, – но только одно могу вам сказать, что все, что он делает, хорошо, и если он нашел нужным скрываться под именем парикмахера, то, насколько я могу объяснить, это было сделано им для того, чтобы, по возможности, уменьшить то зло, причиной которого был покойный князь Гурий Львович.

– Вот как! – улыбнулся Косицкий. – Так вы так высоко ставите князя Михаила Андреевича?

– О, да! – подхватил Гурлов. – Правда, я узнал этого человека всего несколько месяцев тому назад, но с тех пор мог

уже убедиться, что это – человек более чем исключительный. Я ему всем обязан – всем своим счастьем. И не один я! Он такой хороший, что возле него даже нельзя быть дурным. Кроме того, он, кажется, знает все. С ним лгать нельзя. Он читает в мыслях и знает все.

– Очень интересно будет познакомиться с ним, – заметил граф. – Так, если хотите, я дам вам место в своем возке.

– Зачем же в вашем? Я где-нибудь...

– Нет, я этого требую.

В тот же день Гурлов выехал из города в возке графа, вместе с ним.

Погода стояла морозная, но внутри возка было тепло, так что пришлось распахнуть шубу. Стекла на окнах покрылись причудливым узором мороза, и так плотно, что через них едва проникал молочный свет, мягко и без тени расплывавшийся по обитой гродетуром внутренности возка.

Косицкий сидел, прижавшись в угол.

– Ну, уж одно могу сказать, – проговорил он вдруг, – что ваш всеведущий князь, наверное, не знает, зачем я еду к нему.

Однако Гурлов был настолько уверен, что князь Михаил Андреевич все знает (он этому имел уже частые и выразительные доказательства), что убежденно возразил:

– Не говорите! Может быть, и знает. Я вам повторяю, что это – человек необыкновенный.

Ему самому давно хотелось узнать, зачем Косицкий едет

теперь в Вязники, но спросить об этом он не решался. Он подождал – не скажет ли ему сам граф чего-нибудь, но тот заговорил о другом.

Он ехал теперь в Вязники с некоторым уже определенным взглядом на дело, успев выработать его в свое пребывание в городе. Он подробно и внимательно изучил переписку о смерти князя Гурия Львовича, которую местные власти, по тогдашней формуле, предали «воле Божьей». Он знал подробности самого происшествия из рассказов Дуньки. Кроме того, он внимательно прислушивался к тому, что говорилось в городе. Из всего этого у него уже составила общая, как думал он, картина. Он был крайне польщен возложенным на него в Петербурге поручением и хотел отличиться. Это желание отличиться заставляло его думать день и ночь о деле. Он думал и, сам того не замечая, подбирал факты для подтверждения своих заранее возникших подозрений. Ему хотелось во что бы то ни стало раскрыть виновность князя Михаила Андреевича.

IX

Когда сопровождавший Косицкого огромный поезд въехал на широкий двор вязниковского дома и первый возок с графом и Гурловым остановился у крыльца, это, по-видимому, не вызвало никакого замешательства или смущения. В окнах не замелькало испуганно-удивленных лиц, по двору не забегали, кучера на конюшнях не засуетились.

Косицкий вошел в дом вместе с Гурловым.

– Надо доложить князю, – начал было Гурлов, поздоровавшись с встретившим их дворецким.

– О приезде графа? – подхватил тот. – Князь уже знает.

– Как знают? – удивился Косицкий.

– Вы ведь изволите быть графом Косицким?

– А ты почему знаешь?

– Князь с утра изволили приказать, чтобы все было готово к приезду вашего сиятельства. Для вас и для сопровождающих приготовлены комнаты.

Гурлов посмотрел на Косицкого, как бы сказав ему этим взглядом: «Ну, что я вам говорил?» Косицкий только пожал плечами.

Ему было очень неприятно, что в Вязниках были предугаданы о его приезде. Впрочем, ничего необыкновенного тут не было. Могли дать знать князю с ямского двора, где были заказаны лошади. Это служило только доказательством

предусмотрительности князя, но ничего сверхъестественного в себе не заключало.

Однако вскоре Косицкому пришлось убедиться, что всеведение князя, о котором говорил Гурлов, было действительно сверхъестественным.

Едва граф привел себя в порядок в приготовленной для него комнате, как к нему явился дворецкий и доложил, что князь просит графа наверх, к себе, вместе с секретарем.

Князь принял Косицкого у себя в комнате, одетый по-дорожному, совершенно готовый к немедленному отъезду. На нем были теплые меховые сапоги, шубка на беличьем меху и в руках теплая бобровая шапка. Маленький сверток – по-видимому, с самыми необходимыми вещами – лежал возле него.

«Вот оно что, – сообразил Косицкий, – он собирается уехать. Ну, это посмотрим!»

И сомнение, что слова Гурлова могут оправдаться и князь знает, зачем он, граф, приехал к нему, невольно получило подтверждение.

Однако Косицкий решился повести осторожную игру. В виновности этого князя он не сомневался. Он был убежден, что этот скрывавшийся в Вязниках обездоленный наследник, всю свою жизнь проведший где-то за границей, явился сюда для того, чтобы известить своего богатого родственника и завладеть его состоянием. Это удалось ему. Но возмездие не должно заставлять ждать себя.

Косицкий все уже сообразил и обдумал, только надо было еще до полного доказательства проверить факты на месте и запастись вещественными уликами. Он был уверен, что найдет их в Вязниках. Странности князя, его якобы всеведение и приготовления, сделанные им к немедленному, по появлении Косицкого, отъезду, говорили не в его пользу. Ясно – он был, что называется, начеку и готов был защищаться.

Однако для того чтобы воспользоваться своими полномочиями и употребить над ним власть, у Косицкого не было еще достаточных оснований. Он мог сделать это лишь по исследовании дела на месте, и теперь решил пока действовать дипломатически.

– Вы, кажется, собрались уезжать? – спросил он князя, оглядев его одеяние.

– Волей-неволей придется, – ответил князь.

– Я бы просил вас... – начал Косицкий. – Дело, по которому я приехал...

– Дело, по которому вы приехали, – глядя прямо ему в глаза, повторил Михаил Андреевич, – убийство покойного князя Гурия Львовича.

– А! Вы говорите «убийство»!

– Да. И в нем вы хотите обвинить меня.

– Позвольте! – снова остановил Косицкий. – Я пока думал только, что смерть князя Гурия Львовича была насильственная – и вы сами подтверждаете это своим словом «убийство», – но кто виновник этого, я не знаю и желаю выяснить

это, и выясню.

– Едва ли! – сказал князь.

– Почему едва ли? – вдруг вспыхнув, переспросил Косицкий.

Поведение и разговор Михаила Андреевича сразу показались ему более чем подозрительными. Он думал сначала, что ему придется поиграть немножко, так сказать, в прятки, что князь Михаил Андреевич не решится сам заговорить о деле, а будет, напротив, стараться запутать и замедлить под разными предлогами расследование. Косицкий давно уже представлял себе, как ему придется жить в Вязниках, как он хитро и дипломатично поведет себя с князем и его окружающими, и как, наконец, он, заручившись уликами, арестует князя. Но выходило на самом деле наоборот, вопреки всем этим ожиданиям. Князь Михаил Андреевич в первую же минуту появления в Вязниках Косицкого заговорил с ним не о смерти князя Гурия Львовича, а об «убийстве», и был готов к отъезду, пронюхав каким-то образом, зачем явился к нему уполномоченный из Петербурга. Так мог поступать только человек, несомненно виноватый. Косицкий решил не церемониться с ним.

– Уверяю вас, – твердо произнес граф, – что я найду виновного в убийстве князя Гурия Львовича.

– Вы даже не будете искать его, – вздохнул Михаил Андреевич, – вы будете искать только фактов, которые подтвердят заранее сложившееся в вас убеждение, что убийца этот – я.

– Значит, вы сознаетесь?..

– Ничуть и ни в чем не сознаюсь я. Я говорю только, что вы будете делать... Согласитесь, что проще сказать так прямо, чем поступать так, как вы думали поступить: жить здесь, высматривать, допрашивать и все-таки арестовать меня как убийцу.

Косицкому пришлось еще раз убедиться в справедливости слов Гурлова: Михаил Андреевич, по-видимому, читал в мыслях.

– Но согласитесь, – сказал он, – что ваш разговор довольно странен. Вы, собственно, ни с того, ни с сего начинаете обвинять меня в пристрастии, что я захочу непременно привлечь вас, и собираетесь уехать, едва я появился у вас... Мало ли что я могу думать? Но, как хотите, так может вести себя только человек, чувствующий свою вину и растерявшийся. Заметьте, ведь я ни словом не обмолвился, что подозреваю вас... А вы собрались уже уезжать.

Князь Михаил Андреевич улыбнулся.

– Ну, как же вы не хотите подобрать факты для моего обвинения? Я знаю, что вы ничего против меня не имеете, что вы даже вполне уверены, что действуете вполне нелицеприятно. Все это я знаю и вполне этому верю. Но беда в том, что из того, что вам известно, уже сложилось убеждение, что я убил князя Гурия Львовича для того, чтобы завладеть его наследством. И вот на все теперь вы будете смотреть с этой точки зрения. Вы застали меня готовым к отъезду и сейчас

же сочли это за улику моей виновности.

– Но как же не счесть? – спросил Косицкий.

– Да ведь, если бы я хотел уехать от вас, кто помешал бы мне сделать это третьего дня, вчера, сегодня утром, наконец, даже после вашего приезда, не впустив вас к себе? Однако я не уехал...

Косицкий должен был согласиться, что рассуждение это справедливо.

– В таком случае, – снова спросил он, – что же значат эти приготовления к отъезду?

– Это значит, что я приготовился не к добровольному отъезду, а к аресту, который все равно вы рано или поздно сделаете. Мне кажется, что тянуть незачем. Это будет совершенно напрасно. Отдайте приказ сейчас же арестовать меня и отправьте в город. Я готов, – и князь Михаил Андреевич поднялся со своего места.

Косицкий, выслушав его совершенно неожиданную отповедь, разинул рот и несколько времени не мог найти, что ему следует сказать или сделать. Князь совершенно поразил его, неожиданно и добровольно отдаваясь под арест.

– Так вы хотите, чтобы я арестовал вас? – проговорил он, все еще не приходя в себя.

– Вовсе не хочу, но рано или поздно вы сделаете это. Я знаю. Так арестуйте лучше сейчас.

«Рано или поздно вы сделаете это, – мысленно повторил себе Косицкий, – значит, сам он убежден в своем аресте, то

есть, что этот арест необходим. Что он не сознался еще – ничего не доказывает. Он сознается впоследствии. Раз он сам этого желает – я должен арестовать его».

Косицкому все-таки казалось, что сам Михаил Андреевич желает быть арестованным.

«Нет, значит, человек виноват. Только виноватый может вести себя так. Я не ошибся», – решил он окончательно и проговорил:

– Очень хорошо. Я вас арестую немедленно и беру это на свою ответственность.

– Ну, вот, так-то проще! – сказал князь.

Косицкий тут же приказал секретарю написать распоряжение и препроводительную бумагу, чтобы отослать с ними Михаила Андреевича в город под конвоем, а сам сел писать конфиденциальное письмо губернатору.

Князь призвал к себе дворецкого и спросил графа, может ли он дать свои последние приказания? Косицкий позволил.

И эти последние приказания были так же странны, как все, что говорил и делал до сих пор князь Михаил Андреевич. Он разговаривал с дворецким, как будто покидал дом по собственной воле, вполне определенно зная, что с ним случится в будущем.

– Я вернусь, – спокойно и медленно говорил он дворецкому, – через год и три дня. Приготовь самовар, теплую ванну и что-нибудь закусить – что, ты думаешь, лучше?

– Можно приказать сделать овсяную кашу? – серьезно

предложил дворецкий.

– Ну, хорошо, вели сделать овсяную кашу. Чужих никого не будет – все те же, свои: господин Гурлов с женою, Чаковнин и господин Труворов.

Можно было подумать, что речь идет о завтрашнем дне, а не о том, что будет через год и три дня.

– Здесь у меня приберешь все, – продолжал было князь, но Косицкий перебил его:

– Нет, уж после вас все, что здесь есть, будет опечатано и досмотрено, так что дворецкому нечего будет прибирать... Все ваши бумаги я отвезу в город...

– Бумаг никаких не найдете, – возразил князь. – Они все или спрятаны, или отосланы уже.

Как только предписание и письмо были готовы, князя посадили в возок и под конвоем трех казаков, из числа сопровождавших Косицкого в Вязники, отправили в город.

Сделано это было так быстро, что все домашние узнали об аресте князя лишь в ту минуту, когда возок, конвоируемый казаками, тронулся в путь.

Х

После ареста князя Косицкому нечего было дольше стесняться, и он сразу принялся за исполнение своих обязанностей, объявив себя присланным из Петербурга лицом для расследования дела об убийстве покойного князя Гурия Львовича.

Прежде всего он сделал распоряжение, чтобы Гурлов, его жена, Чаковнин и Труворов остались разъединенными по разным комнатам, и приставил караул, чтобы они не могли сообщаться друг с другом прежде допроса.

Предварительно этого допроса Косицкий сделал подробный осмотр места странной кончины Гурия Львовича. Это вполне подтвердило его первоначальные предположения. Теперь он был уверен, что находится на верном следу, и что бы ни говорил там князь Михаил Андреевич, а виновность его несомненна.

Теперь, после исследования (появившаяся Дунька ходила вместе с Косицким и давала ему объяснения и указания), дело представлялось Косицкому так.

Князь Гурий Львович был найден в своей спальне, несомненно, сожженный при помощи лампового масла, которого в лампе, заправленной с вечера, не оказалось. Туловище его было сожжено; остались только ноги, руки и голова. Смерть была ужасная, мучительная. Спальня князя оказа-

лась запертою изнутри. Значит, люди, совершившие злодеяние, проникли не через эту запертую дверь, а иным путем. В окно – было немисливо. Существовала и была найдена Косицким другая, отделанная под штофные обои дверь с лестницы, ведшей в подвал. Она оказалась отпертою. Очевидно, она была отперта и в день смерти князя. Очевидно также, что убийцы поднялись по этой лестнице, вошли в дверь и расправились с князем.

Теперь нужно было решить вопрос: кто могли быть эти убийцы?

Конечно, прежде всего для совершения преступления необходимо основное побуждение, основной мотив, в силу которого оно совершается. Какой мог быть мотив в данном случае? Грабеж, корыстная цель? Но все в спальне было найдено в порядке, и ничего украдено не было. Затем самый способ убийства – медленный и мучительный, как сожжение, не соответствовал действиям с целью грабежа. При грабеже стараются разделаться со своею жертвой как можно скорее, а тут было иначе. Такое убийство было похоже на месть.

Покойный князь Гурий Львович был самодур и зверь. Желать отмстить ему могли многие.

В числе этих многих были, между прочим, Чаковнин, по характеру самолюбивый и вспыльчивый, оскорбленный князем и, очевидно, затаивший против него злобу, а затем Гурлов. Последний был влюблен в Машу, только что явившуюся из Москвы из ученья, крепостную актерку князя. Он явился

в Вязники ради нее. Князь держал Машу взаперти. Гурлов делал несколько попыток освободить ее. Он был озлоблен на князя за то, что тот угнетал любимую им девушку. Только смерть князя могла освободить ее. И что же? Как раз вечером пред той ночью, после которой нашли князя мертвым, эти Чаковнин и Гурлов пытаются путем насилия и открытого нападения освободить эту Машу. Это им не удается, их схватывают. Когда схватывают их, является третий их приятель – Труворов – и просит взять его тоже, ибо он де – тоже участник. Их всех троих берут и вместе отводят связанных в тот самый подвал, из которого ведет лестница в спальню князя. Там их будто бы сажают по отдельным камерам и на другой день находят действительно запертыми и связанными по этим камерам. Два сторожа, которые должны были стеречь их, оказываются бежавшими и пропавшими без вести. Вот факты. Не ясно ли, что эти бежавшие сторожа были подкуплены? А раз они были подкуплены, дело становилось очень простым: они ночью развязали и выпустили Чаковнина, Гурлова и Труворова. Те поднялись по лестнице в спальню князя, совершили там свое злое дело, вернулись обратно, были снова связаны и заперты и считали, что этим всякое подозрение с них снято, потому что они, дескать, были в ночь убийства заключены в подвале.

Все это было очень хитро и хорошо придумано. Виден был опытный и умный руководитель.

Таким руководителем явился арестованный уже князь

Михаил Андреевич, наследник, скрывавшийся под именем парикмахера. Смерть князя ему была выгодна, потому что давала ему в руки миллионное состояние. Он явился под чужим именем в Вязники, жил здесь, разведal все и посулил Гурлову выдать за того Машу замуж, если тот поможет ему достичь желаемого наследства.

К таким выводам и заключениям пришел Косицкий и не сомневался уже в их справедливости. Теперь, по его мнению, нужно только довести виновных до добровольного сознания.

Одно лишь смущало его, а именно то, что общий отзыв о князе Михаиле Андреевиче был прекрасный, все хвалили его. Но и это последнее сомнение пало после допроса первого же сторонника самого князя – Труворова. Тот на вопрос, какого он мнения о князе Михаиле Андреевиче, прямо сказал, что считает его дурным человеком.

После допроса Труворова был призван к Косицкому Гурлов.

Сергей Александрович уже знал об аресте князя и о том, что его отвезли под конвоем казаков в город. Но почему и как это произошло, он не имел понятия, так как сам был задержан в своей комнате, где и оставался один волей-неволей под караулом до тех пор, пока его не позвали к Косицкому.

– Что такое, что случилось? – стал спрашивать он, как только вошел в кабинет князя, где Косицкий производил допрос.

Графа он считал уже человеком знакомым, проехав с ним

в одном возке до Вязников, и потому заговорил с ним по-просту.

Но тот остановил его, хотя очень вежливо, сказав:

– Простите, но в настоящее время я вас пригласил сюда не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, а чтобы выслушать от вас ответы на мои, которые я предложу вам.

Гурлов сейчас же, в свою очередь, принял официальный тон и, сев против Косицкого, сухо проговорил:

– Я готов отвечать. Спрашивайте!

– Что вы знаете по делу о смерти князя Гурия Львовича Каравай-Батынского?

– Я думаю то же, что и все: что его обезображенный труп нашли в его спальне...

– Так! А сами вы в ночь убийства лежали связанный в подвале за произведенное нападение для освобождения бывшей актрисы князя, теперешней вашей жены?

В голосе Косицкого чувствовалась некоторая ирония.

– Да, я лежал связанный! – подтвердил Гурлов.

– Так. Ну, а какого вы мнения о новом владельце Вязников, князе Михаиле Андреевиче?

– Я уже говорил.

– Что вы говорили раньше – забудьте. Теперь я спрашиваю вас официально. Ваши слова записываются, – и Косицкий показал на сидевшего за особым столом секретаря, скрипевшего пером по бумаге.

– Я самого лучшего мнения о князе Михаиле Андрееви-

че, – сказал Гурлов, – и полагаю, что не найдется человека, который сказал бы про него дурно.

– Вы полагаете? Однако же допрошенный пред вами Никита Игнатьевич Труворов держится другого взгляда. Он иного мнения о князе.

– Не может быть! – вырвалось у Гурлова. – Никита Игнатьевич?.. Не может быть!.. Вы, вероятно, не так поняли его, он говорит невнятно и скуп на слова... Это – очевидное недоразумение.

– Пригласите сюда господина Труворова, – обратился Косицкий к секретарю.

Тот вышел, чтобы исполнить приказание.

– Неужели вы подозреваете в чем-нибудь князя Михаила Андреевича? – спросил Гурлов, но Косицкий не ответил ему, сделав вид, что внимательно читает лежавшие пред ним бумаги.

Вошел Труворов, очень недовольный.

– Вот я прошу вас, – сказал ему Косицкий, – повторить при господине Гурлове то, что вы сказали о князе Михаиле Каравай-Батынском.

Труворов молча уставился на Косицкого. Лицо его выразило искреннее душевное страдание.

– Прошу вас отвечать! – настаивал Косицкий. – Подтвердите еще раз то, что вы сказали мне.

– Ну, что там сказал... ну, какой там повторять... – протянул Никита Игнатьевич, махнув рукой.

Косицкий строго сдвинул брови.

– Я обязываю вас, господин Труворов, подтвердить, что вы считаете князя Михаила Каравай-Батынского «дурным человеком», вы так выразились мне...

Труворов вздохнул.

– Никита Игнатьевич, может это быть? – спросил Гурлов.

– Ну, что там – может быть!.. Ну, какой там мучить меня?..

– Значит, вы отказываетесь от своих первоначальных слов? – спокойным голосом произнес Косицкий, как человек, чувствующий себя на высоте власти, делающей его бесстрастным.

– Ну, какой там отказываюсь?.. Ну, я сказал уже... где там... – снова протянул Труворов.

– Вы сказали, что князь Михаил Каравай-Батынский – дурной человек?

– Ну, да, сказал там... Я того... сказал – дурной человек.

Больше от него ничего нельзя было добиться, но и этого для Гурлова было более чем достаточно. Он смотрел на Труворова пораженный, недоумевая, сам ли он сходит с ума, или рехнулся Никита Игнатьевич.

XI

Косицкий принялся за расследование так рьяно, как это делают обыкновенно с непривычки, прилагая гораздо более энергии, чем это нужно для самого дела. Он суетился, осматривал кабинет и спальню покойного Гурия Львовича, допрашивал всех и поодиночке, и на очных ставках, не хотел отдохнуть целый день и исписал в этот день большой ворох бумаги. Результатом этой его лихорадочной деятельности явилось к вечеру то, что, кроме арестованного и отправленного уже в город князя Михаила Андреевича, оказались в сильном подозрении Чаковнин, Гурлов и Труворов.

Косицкий, сам для себя, не сомневался уже в их виновности и правильности того, как он представил себе все дело. Теперь, по его мнению, задача его состояла лишь в том, чтобы добиться от них совершенного доказательства, то есть признания. Для этого он после допроса выпустил их из своих комнат и предоставил им пока полную свободу, думая по-пробовать сначала кроткие средства – пусть совесть заговорит в них. Он решил между тем наблюдать за ними.

Гурлов почувствовал себя усталым к вечеру. Ему так хорошо было с любимой женой Машей, он так был счастлив с нею, что ему казалось, что это счастье слишком велико и не может продолжаться.

Так оно и вышло. Беда ворвалась вдруг и совершенно

неожиданно. Князь Михаил Андреевич, его благодетель, исключительный по доброте и чистоте души человек, вдруг арестован по грубому подозрению, и благодушный Никита Игнатьевич Труворов дает против него показания, то есть отзывается о нем нехорошо. Но почему это? Откуда? Труворов был не трус – Гурлов знал это, – сробеть перед петербургским чиновником он не мог. Тут было что-то неладное, какое-то недоразумение, которое требовалось немедленно выяснить.

Самому Гурлову было тяжело разговаривать с Труворовым, который теперь казался ему неприятен за неуместный и легкомысленный отзыв о князе. Он просил жену переговорить с ним, а сам пошел по комнатам заключенного дома, без определенной цели, так, куда глаза глядят...

Сегодня, по случаю появления Косицкого и необычайной его деятельности, весь дом был освещен.

Гурлов переходил из одной пустынной комнаты в другую, не находя себе места.

Забрел он в зимний сад, менее всего освещенный, и здесь ему показалось лучше, чем где бы то ни было. Здесь можно было сесть и отдохнуть в тиши одному, подумать и привести свои мысли в порядок. Он сидел сегодня все утро один в своей комнате под арестом, но это одиночество было спокойное, тревожное своею неизвестностью... Теперь он знал, в чем дело, знал, какое обвинение тяготеет над князем Михаилом Андреевичем, и понимал, что Косицкий легко может притянуть и его самого к обвинению. Ему надо было спокой-

но обсудить свое положение. Он зашел в сложенный из ноздреватого песчаника грот в зимнем саду и сел на скамейку. Легкая сырость, охватившая его тут, была приятна ему. Он сел и закрыл глаза.

Гурлов не знал, долго ли сидел так здесь, как вдруг ясно, почти возле себя, услышал голоса Маши и Труворова.

– Вот сядем здесь, нам не помешают, – сказала она.

– Ну, что там помешают! – протянул Никита Игнатьевич.

– Мне муж сказал, – начала Маша, – что вы сегодня при нем на следствии дурно отозвались о князе Михаиле Андреевиче?

– Отозвался! – решительно ответил Труворов.

– Почему же?

– Ну, что там, почему?

– Нет, Никита Игнатьевич, вы не могли не сознавать, что тут каждое слово в строку... Какое же вы имели право?

– А вы не знаете?

– Я?

– Да, вы!

– Я ничего не понимаю, Никита Игнатьевич.

– Ну, что там «не понимаю»?.. Я того... думал, что вы тоже хорошая... а вы там... ну, где...

– Что я, что вы говорите?

– Ну, вы уж знаете... Я сам видел, сам все того...

– Что вы видели?

– Ночью по коридору там... вы ходили в кабинет князя...

Каждый день... пока муж там, где там... ездил там.

Никита Игнатьевич сильно задышал и засопел, не досказав, но и того, что он сказал, было достаточно.

Услышав это, Гурлов первым движением хотел выйти из грота и задушить Труворова за то, что тот решил говорить такие вещи его Маше. Но он остолбенел от изумления и негодования. Он чувствовал, что не может двинуться, прийти в себя. Ведь если Никита Игнатьевич так прямо наедине решается сказать это его жене, значит, считает себя убежденным.

– Вы с ума сошли! – сказала Маша.

– Ну, какой там с ума? Где там с ума?... Я сам видел... И вы, и князь поэтому дурно... того... вот отчего он нехороший...

Голос Труворова звучал уже издали. Он, очевидно, встал и удалялся по мягким, обитым веревочными матами, дорожкам зимнего сада.

Гурлов не мог дольше стерпеть и вышел из грота. Маша, оставшаяся сидеть, испуганно вздрогнула, увидев его.

– Сергей, это – ты? – спросила она, как бы не веря своим глазам.

– Маша, это – правда? – спросил он.

– Что – правда?

– А вот, что сказал он?

Она вдруг вскочила и приблизилась к мужу:

– Правда? И ты можешь, ты смеешь спрашивать меня,

правда ли?

Нервы Гурлова с утра были слишком расстроены, чтобы выдержать этот новый неожиданный натиск. Голова у него закружилась, ему показалось, что Маша своей вспышкой хочет прикрыть свой испуг, и он, сам не сознавая того, что делает, сдвинул брови и почти крикнул на нее:

– Я тебя спрашиваю, правда ли то, что сказал Труворов? Отвечай мне «да» или «нет». Только!

Ему так хотелось услышать поскорее опровержение слов Никиты Игнатьевича, что все, что бы ни сказала Маша, кроме этого «нет», могло лишь больше рассердить его.

Она никогда не видела мужа таким, не могла даже себе представить, что он мог быть таким. Она остановилась, широко раскрыв глаза на него, и в них отразилось удивление – не испуг, не робость от его крика, а именно удивление.

– Да или нет? – повторил Гурлов, стискивая зубы.

Он был страшен. Лицо его побагровело, глаза налились кровью, рот судорожно подергивался, а кулаки сжимались. Но внутренне, всем существом своим, он был жалок и беспомощен. Он готов был этим внутренним существом своим молить, просить жену, чтобы она сказала сейчас, сию минуту это «нет», которое единственно хотелось ему услышать.

Маша медлила и не отвечала. Она подняла руки к лицу, закрыла его, провела пальцами по глазам, потом долгим, сухим взглядом остановилась на муже и тихо ответила:

– Я тебе ничего не скажу!

Это было не то, чего ждал Гурлов. В особенности, ее взгляд. До сих пор, когда она смотрела на него, он светился любовью к нему, освещал все лицо и делал его прекрасным; теперь же он был холоден и придавал ей отчаянно-отталкивающее выражение.

– Ты мне скажешь... – начал было он, задыхаясь.

– Сергей Александрович! – остановила его Маша, и голос ее был так же сух и холоден, как и взгляд.

Гурлов вдруг почувствовал, что слабеет и ноги подкашиваются у него; волнение, злоба, досада сломили его. Он слабо махнул рукою и беспомощно опустился на скамейку. Подойди Маша тут к нему, обними, приласкай, скажи, что любит его по-прежнему, только его одного – все было бы опять хорошо, то есть не было бы, но могло быть.

Но она не подошла, не обняла, ничего не сказала, а повернулась и пошла в сторону, противоположную той, куда исчез Никита Игнатьевич, когда Гурлов вышел из грота, и оставила его одного в этом зимнем саду.

До Труворова теперь не было еще дела Гурлову. Он решил, что о нем поведет речь после, а теперь надо было думать о главном, причем это главное была для него, конечно, его жена, Маша.

Гурлову казалось, что она жестоко, безбожно поступила с ним тем, что на его просьбу (он воображал, что просил ее) опровергнуть нелепое обвинение Труворова ответила отказом и ушла. Жестоко! Это с ее стороны было жестоко.

«Нелепое? – думал уже вскоре Гурлов. – Почему нелепое? Князь Михаил Андреевич уже не молод, но еще очень видный, и в его лице есть что-то притягивающее. Потом эта его доброта, богатство, ум... Все это может вскружить голову бывшей актрисе, бывшей крепостной. Что, в сущности, моя Маша, которую я так люблю, которую из крепостной, взяв за себя замуж, сделал дворянкой? Она все-таки – крепостная и все-таки актриса. А что, если она только играла со мною до сих пор роль для того, чтобы женить на себе, а потом принялась за князя?»

И самые скверные, самые подлые мысли закопошились в голове Гурлова, но он мучил себя ими с каким-то наслаждением.

Были светлые промежутки, когда ему казалось, что все это – вздор и не может быть, и он хотел идти сейчас к своей Маше и просить у нее прощения, но в это время ему приходило на ум: «А вдруг это – правда?» – и при одной мысли об этом он снова терял голову, впадал в неистовство, стискивал кулаки и бегал по мягким дорожкам зимнего сада.

Так провел Сергей Александрович всю ночь и к утру был в состоянии, почти близком к сумасшествию.

Если бы Маша могла знать, что происходило в его душе, она пришла бы сюда, в зимний сад. Гурлову казалось, что, если бы она любила его, то догадалась бы, что делается с ним, и пришла бы. Но она не приходила – значит, не любила. А если не любила, то все правда. Тогда один конец – конец все-

му...

К утру Сергей Александрович поймал себя на том, что обдумывал, как лучше наложить на себя руки.

Это тешило его некоторое время. Он с наслаждением представлял себе, как этим оплатит Маше за всю муку нынешней ночи. Он был уверен, что не он сам себя мучит теперь, а она его.

«Ну, и что ж? Я умру, а они будут счастливы!» – вдруг сообразил он.

И эта мысль стала угнетать его. Ему хотелось отомстить им – жене и князю, – отомстить так, чтобы выхода не было. И он придумал эту месть...

Утром на заре Гурлов пошел, разбудил Труворова и заставил его поклясться, что тот видел, как Маша шла по коридору в кабинет князя. Никита Игнатьевич сказал, что видел, и поклялся в этом. Гурлов пошел было к Маше, но, не дойдя до ее двери, вдруг круто повернул, направился следом за проходившим мимо лакеем Косицкого, несшим тому воду для бритья и умыванья, вошел в комнату к Косицкому и сказал ему, что сознается в убийстве князя Гурия Львовича совместно с князем Михаилом Каравай-Батынским.

В этом состояла придуманная им месть. Он был как сумасшедший.

Косицкий выслушал беднягу, записал его показание и велел взять под стражу.

– Один уже сознался, – сказал он секретарю, когда тот

явился к нему для занятий.

XII

Следствие дало блестящие результаты.

Главное – оно было произведено быстро и энергично, и Косицкий счел, что дольше ему в Вязниках оставаться нечего. Сознания одного обвиняемого было вполне достаточно для него. На основании этого сознания он мог арестовать и остальных двух и уехать вместе с ними в город.

Граф решил, что из города пошлет подробное донесение в Петербург о том, что сделано уже им, и будет просить инструкций для дальнейшего образа действий. Ему казалось, что того, что сделано, вполне достаточно для предания суду виновных. Налицо были улики очень веские и даже одно собственное сознание. Вслед за Гурловым он велел арестовать Чаковнина, Труворова и Машу.

В то время подследственные арестанты содержались всегда при губернском правлении в кордегардии. Там было несколько общих помещений, низких, тесных, переполненных народом, куда не решились посадить князя Михаила Андреевича. Ему была отведена отдельная камера с некоторыми удобствами, постелью и столом.

Больших хлопот стоило смотрителю разместить остальных арестованных, привезенных Косицким из Вязников. Для них требовались тоже отдельные помещения. Косицкий настаивал на том, чтобы они сидели в одиночку. Для этого

нужно было очистить цейхгауз и занять дежурную комнату. И все-таки хватало места только для троих. Поэтому Косицкий согласился на то, чтобы Чаковнин был заперт вместе с Труворовым.

Князь Михаил Андреевич сидел по одному с ними коридору, но не знал, что они тут.

С тех самых пор, как ввели его в его камеру, он не проронил ни слова. Он позволил арестовать себя потому, что знал, что это было нужно для него самого. Как ни странно показалось бы это всякому другому, но князь не был похож на других. Он знал, что охвативший его круг зла не порван еще и что нужно терпеливо победить это зло, перенеся испытание до конца. Но он думал, что испытание наложено на него одного и никто не пострадал вместе с ним.

Он сидел у стола и читал библию (единственную книгу, которую дали ему), когда замок в двери щелкнул, дверь отворилась, и гремевший ключами сторож пропустил в камеру одетого в черное человека с темным лицом, блестящими глазами и черными, как смоль, волосами.

– Запри дверь и уйди, мне нужно осмотреть арестанта, – приказал этот посетитель сторожу, а когда тот исполнил его приказание, тотчас же обратился к князю с вопросом:

– Вы, конечно, узнаете меня?

Михаил Андреевич спокойно перевел взгляд от книги на человека, вошедшего в его камеру, и совершенно спокойно ответил:

– Узнаю. Теперь вы, очевидно, пришли ко мне под именем доктора.

– Да, я пришел к вам под именем доктора. Я назначен сюда доктором.

– Разве прежнего губернатора уже нет? Он не мог назначить вас.

– Нет, он смнен, потому что принадлежит к тайному обществу масонов. Вы лишились здесь сильного союзника. Теперь на ваши братства смотрят не так безразлично, как прежде... Сила ваша слабеет с каждым днем.

– Хорошо. Что же вам нужно?

– Все того же: вашего согласия.

Князь ничего не ответил.

Черный человек, подождав, произнес:

– Я пришел, чтобы получить, наконец, ваше согласие.

– Я вам не дам его.

– Послушайте, князь, – заговорил черный человек, – неужели вы не убедились до сих пор в моей силе и не видели, что победа всегда на моей стороне? Сколько раз было так, что, как вам казалось, цель достигнута, что вот-вот вы уже близки к ней, и всегда оказывалось, что вы только удалялись... Теперь документы в моих руках.

– Я знаю, что вы получили их с помощью Авдотьи, – сказал князь.

– Вы знаете это? Тем лучше. Но знаете ли вы, что против вас собраны улики в убийстве князя Гурия Львовича, что ва-

ши сообщники арестованы, сидят здесь, по одному коридору с вами, и что один из них, Гурлов, сознался в убийстве? Вы будете обвинены – нет сомнения. Вам теперь остается выбирать между Сибирью и тем, что вы дадите мне ваше согласие. Пока еще не поздно, пока можно сделать так, что вы будете освобождены и от меня получите документы – согласитесь только. Это последний раз, что я предлагаю вам.

Князь слушал, не перебивая, и, когда черный человек замолчал, спросил его:

– И вы ради этого пришли ко мне?

– Да, ради этого.

– Вот, видите ли, как зло истребляет само себя и само себя подтачивает. Вы думаете, что пришли ко мне для того, чтобы заставить меня пойти на неправоное дело, и для этого привели якобы несомненные доказательства моей гибели. А на самом деле вы мне сообщили только, что друзья мои арестованы и один из них почему-то сознался в не сделанном им преступлении. Я не знал этого. Теперь я знаю, что им нужна моя помощь. Благодарю вас.

– Как же вы им будете помогать из своего каземата? – злобно процедил черный человек.

– Как? Не все ли вам равно? Вы мне сказали все, что нужно, теперь можете идти. Наш разговор кончен.

– Ты сгниешь у меня в этом каземате! – тихо пробормотал черный человек, уходя от князя, – а не сгниешь здесь – пропадешь в Сибири, которой не миновать тебе теперь.

XIII

Оставшись один, князь Михаил Андреевич задумался. Ему нужно было отметить в своем «дневнике» все случившееся в последнее время.

У этого, совершенно исключительного, особенного человека и дневник был особенный. Он никогда не писал его. Ему не нужно было записывать, чтобы помнить раз навсегда все, что желал он запомнить; ему достаточно было по известному способу, по особой системе отметить в своей памяти что-нибудь, и затем он мог как бы забыть даже это, не думать; но, когда было нужно, он делал некоторое усилие, и отмеченное восстанавливалось в его памяти совершенно так же, как будто оно было записано и он перечитывал. Так он до мельчайших подробностей мог в любую минуту вспомнить все, что случилось с ним с тех пор, как был открыт ему дар этого запоминания.

Теперь князю надо было отметить, что он после того, как привезли его сюда в кордегардию и заперли, не «осветил» себе окружающего и не узнал, что его друзья тоже арестованы. Ему следовало сделать это самому, он до некоторой степени дал промах, и вот судьба сейчас же пришла ему на помощь. Человек, всегда желавший ему зла и желавший именно теперь сделать ему зло, явился и как бы предупредил его. Слабый человек боится зла и робеет пред ним, но мудрый ищет

в нем доброе, ибо зло есть лишь противоположность добра, но не его отсутствие. Михаил Андреевич знал это.

Он просидел, не двигаясь с места и даже не меняя положения вплоть до девяти часов вечера, когда караул в кордегардии пробил зорю и тюремный коридорный, заперев наружную дверь, стал обходить камеры, разнося на ночь воду заключенным и хлеб, составлявший их ужин.

Этот коридорный, хилый, бледный солдатик из нестроевой команды вошел к Михаилу Андреевичу с кружкой в руках и поставил ее на стол. Князь посмотрел на него. Глаза солдатика выражали полное равнодушие.

– Вот водица, – сказал он, как бы извиняясь, и покрыл кружку куском хлеба, повернув его заплесневевшей стороной вниз.

Князь поднялся, продолжая пристально глядеть в глаза солдатiku. Тот остановился с полуоткрытым ртом и робко продолжал смотреть на Михаила Андреевича, в свою очередь, словно не смея отвести глаза.

Князь медленно стал поднимать руки с отставленными и обращенными мягкостью к солдатiku большими пальцами. Тот дрогнул всем телом и замер. Князь, продолжая упорно смотреть в глаза ему, взял его за плечи, повернул и, как послушный манекен, посадил на табуретку. Солдатик грузно опустился. Князь провел рукою пред его глазами. Веки сторожа не тронулись; он спал с открытыми веками.

Князь положил ему на голову руку и спросил:

– Можешь ты видеть?

Лицо солдатика задергалось, точно ему стоило невероятных усилий понять вопрос.

– Далеко... не... могу!.. – с трудом ответил он.

– Но, что тебе известно, то можешь видеть?

– Да.

– Где камера Гурлова?

– Наискось, вторая дверь, номер третий.

– А жены его?

– В конце коридора, номер четвертый.

– Что она делает теперь?

– Молится...

– Ну, а дальше видеть не можешь? Судорога опять пробежала по лицу солдата. «Странно! – подумал князь. – Так легко заснул и так мало восприимчив!»

Он провел опять рукою у лица солдатика, отчего тот опустил веки. Тогда князь взял у него из рук ключи, взял его фонарь, вышел в коридор, направился к выходной двери, осмотрел, крепко ли заперта она, задвинул болт, оказавшийся не задвинутым, и с невозмутимым спокойствием пошел к двери номер три, где сидел Гурлов.

Сергей Александрович встретил неожиданное появление князя полным недоумением, похожим на столбняк. Он, очевидно, не поверил действительности. Ему показалось, что он имеет дело с привидением.

С самого своего безумного поступка, после проведенной

в крайнем напряжении и волнении ночи, Гурлов еще не приходил в себя. Он не помнил, когда спал и когда ел, и не знал даже наверное, спал ли вообще и ел ли.

В том, что он сделал, он не раскаивался, как будто все в жизни было для него так уж скверно, что ни о чем ни сожалеть, ни печалиться не стоило. Образ Маши, идущей по коридору ночью в кабинет князя, как живой, стоял перед ним и все заслонял собою. Какие могли быть тут оправдания, какие могли быть объяснения? Труворов не станет клясться понапрасну.

И вот первый вопрос, который вырвался у Гурлова при виде князя, был:

– Маша... у вас... без меня... в кабинете ночью?..

– Так вот оно, в чем дело!.. – проговорил Михаил Андреевич, и ему все стало ясно.

В течение последних дней Гурлов думал только об одном. У него и теперь в памяти ясно жил весь последний разговор с Машей, все безумие последней ночи в Вязниках, и Михаил Андреевич, имевший возможность так же ясно понимать мысли человека, как и слова, сразу понял, прочел в мыслях Гурлова все и не нуждался уже в дальнейших расспросах и объяснениях.

– Вот оно что! – повторил он, как в отражении зеркала увидев, чем тревожился Гурлов, и увидел всю историю, точно она произошла сейчас вот на его глазах. Он близко подошел к Гурлову, тихо положил руку на его плечо и так же ти-

хо проговорил: – Успокойтесь! Маша была у меня несколько раз в кабинете, когда все затихало в доме, но дурного в этом не было. Она сама даже не знала об этом.

«Так и есть... так и есть... так и есть!..» – вихрем завертелось в мыслях Гурлова.

Внутренне, в глубине души, он был уверен, что Маша не виновата ни в чем, но что его мучил до сих пор какой-то демон. Он сам себя мучил. И, несмотря на то, что слова князя были совершенно непонятны – ибо, как же Маша могла быть у него в кабинете и даже не знать об этом? – он, не соображая, верил тому, что сказал Михаил Андреевич.

Он взялся за голову и воскликнул:

– Боже, что я наделал!

– Сколько раз в жизни произносим мы эту фразу, – сказал князь, садясь возле Гурлова, – а сами не слушаем себя и снова увлекаемся в борьбе до того, что она толкает нас на новые промахи... Но – успокойтесь! – и наши промахи на благо нам. Всякий человек движется в жизни, готовый к страданиям, если он добр, и к разрушению, если он злой. Страдание – пробный камень для избранных. Только сильным душам судьба шлет сильные испытания, потому что только путем этих испытаний они могут доказать свое небесное происхождение. В жизни вечно борются ночь и день, порок и добродетель, ангел и демон... И в этой борьбе – жизнь. Вы думали, что успокоились, женившись на Маше, что ничто не затемнит вашего счастья – нет таких внешних поводов. И вот

явился внутренний повод в вас самих – ревность. Ревность слепа и безумна, и вы поддались ее безумию... Надо отрезать себя...

– Где теперь Маша? – спросил Гурлов.

– Здесь, заключена вместе с нами.

– Вы пришли освободить нас?

– Нет, я заключен так же, как и вы. Пока я пришел только успокоить вас, утешить и посмотреть, чем могу помочь вам. Вы взвели на себя убийство Гурия Львовича?

Гурлов не ответил.

– Знаете ли вы, – продолжал князь, помолчав, – что собственное сознание считается совершеннейшим доказательством и что теперь ничто уже, никакие уверения не могут опровергнуть его? Раз вы сознались, то по формальным, действующим у нас законам, вы будете обвинены.

– Знаю, – глухо подтвердил Гурлов. – Но теперь пока мне это еще безразлично. Вы говорите, что Маша не знала, Маша не виновата: она была у вас в кабинете, но сама не подозревает об этом... Как же это может быть?

– Как? – переспросил Михаил Андреевич. – Вот, видите ли, я все равно объяснил бы вам, потому что вы уже посвящены мною в некоторые тайны, но теперь объяснение требуется само собою. Однако прежде чем я вам покажу на деле, я должен дать вам понятие о существовании человека.

И князь Михаил Андреевич, понизив голос, стал рассказывать Гурлову.

Он говорил подробно и долго, и Сергей Александрович слушал его, не перебивая. Изредка только глаза его удивленно расширились, и он взглядывал на своего учителя, видимо, пораженный тем, что узнавал впервые в жизни.

– Ну, а теперь до завтра! Завтра вы увидите все сами, – и, простившись с Гурловым, князь вышел, запер тщательно дверь и вернулся в свою камеру.

Там солдатик сидел по-прежнему на табурете в той самой позе, в которой оставили его.

Михаил Андреевич поднял его, поставил пред собою, сам сел к столу и дунул в лицо солдатика. Тот вздрогнул, открыл глаза и, совершенно не подозревая, что с ним произошло, поправил хлеб на кружке.

– Так вот водица!.. – пояснил он опять и удалился, заперев князя в его камере.

XIV

На другой день опять, когда пробили зорю и коридорный солдатик принес воду и хлеб, князь усыпил его, посадил на табуретку, взял у него ключи и фонарь, вышел в коридор и, осмотрев входную дверь, направился к номеру четыре, где, как он знал, сидела Маша.

Подойдя к ее двери, он остановился, поставил на пол фонарь и протянул обе руки перед собою. Так он постоял некоторое время, а затем, как бы сказав себе «довольно» и не растворив двери, направился к камере Гурлова.

– Наконец-то! – проговорил тот, поднимаясь навстречу князю. – Я думал, что никогда не дождусь вас...

– Терпение, терпение! – повторил тот, – помните, что говорится в старой арабской сказке? Терпение со дна колодца возводит на высоту престола.

– Да, но вы обещали мне, что сегодня я увижу Машу.

– Да, и именно так, как она приходила ко мне в Вязниках, во время вашего отсутствия, – продолжал князь. – Теперь сядьте и наблюдайте... – князь остановился посередине комнаты и поднял опять руки по направлению, в котором была камера Маши. – Иди! – приказал он, оставаясь с поднятыми руками.

Наступила тишина. Гурлов затаил дыхание.

В коридоре слышались шаги, мерные, легкие, но опре-

деленные, и затем на пороге двери появилась Маша. Она шла тихую, спокойною походкой, лицо ее светилось улыбкою, глаза были полуоткрыты, но ясно было, что она не видела ими. Ясно это было потому, что она не узнала мужа, сидевшего тут. Она спала.

– Разбудите ее! – невольно воскликнул Гурлов. – Я хочу говорить с нею.

– Погодите, – остановил его князь, – если я разбужу ее и вы заговорите с нею – она вспомнит, как вы вели себя при расставанье, и ей нужно будет объяснять то, что знать ей не следует. – Он подошел к Маше, положил ей на голову руку и проговорил размеренным, твердым голосом: – Очнувшись, ты забудешь неприятность с мужем и свой разговор с Труворовым, как будто их никогда не было. А теперь ляг пока и отдохни! – Затем он уложил Машу на койку и обратился к Гурлову: – Надо дать ей успокоиться. Поверьте, этот сон вознаградит ее за пережитые ею волнения последних дней. Потерпите! Надо дать ей хоть четверть часа полежать так для ее же пользы. А пока я вам скажу, почему я решился воспользоваться ее восприимчивостью. Восприимчивость у нее особенная, я редко встречал такую. В ваше отсутствие в Вязниках Чаковнин поехал в город и там должен был получить от губернатора, принадлежащего к нашему братству, документы, которые я ищущую всю свою жизнь и ради отыскания которых я и живу. Наши братья помогали мне. И вот наконец эти документы пришли к губернатору с помощью нашего брат-

ства, и он должен был переслать мне их, потому что сам я не мог ехать за ними. Мне сказано, что я их получу от человека, который одним ударом сломит полосу железа. Вы знаете силу Чаковнина; он один способен на это. И вот я рассудил, что судьба посылает мне его. Я просил его привезти документы. Но предчувствие подсказало мне, что он не привезет их, вследствие чего мне надо было следить за ним. Тогда я решился вызвать сон Маши, чтобы из Вязников видеть ее глазами то, что было с Чаковниным, и она увидела. Она рассказала мне, как эти документы были похищены у Чаковнина. Он не привез мне их.

– Но, значит, вы знаете похитителя? – спросил Гурлов.

– Да, знаю его.

– И знаете, где эти документы теперь?

– Нет.

– Так спросите у нее, пока она спит, – показал Гурлов на Машу.

– Этого она не увидит. Вот, видите ли, надо все-таки руководить духовным зрением погруженного в такой сон человека. Я могу заставить вашу жену идти только за своею мыслью и волей. Для этого нужно, чтобы сам я знал, где находится в настоящую минуту тот человек, которого, по моему желанию, она должна увидеть. Тогда я себе представляю его приблизительно в его обстановке, и она увидит, а я теперь не знаю, где черный человек, похитивший документы...

– Я вижу его! – вдруг проговорила Маша. – Я вижу его! Он

вынул из секретного ящика в столе сверток бумаги и несет их к камину. Я видела уж раз эти бумаги. В камине огонь...

Она говорила, и ее лицо, до сих пор спокойное, исказилось судорогой, а руки дернулись.

Михаил Андреевич быстро кинулся к койке и прижал руку ко лбу Маши, пристально глядя ей в лицо.

– Что с ней? – испуганно спросил Гурлов.

Князь свободной рукой, не оборачиваясь, показалему, чтобы он молчал. Та поспешность, с которой он кинулся к Маше, показывала, что произошло что-то серьезное, по его мнению.

Маша билась под рукою Михаила Андреевича, и князь долго стоял над нею, все время показывая Гурлову, чтобы тот оставался смирно. Мало-помалу Маша стала успокаиваться и, наконец, затихла совсем.

– Она умерла? – чуть слышно проговорил Гурлов.

– Тише, молчите! – умоляюще и вместе с тем повелительно остановил его князь, а затем, отняв руку от головы Маши, стал водить над нею, не касаясь ее, обращенными к ней ладонями в разных направлениях.

Гурлов видел, как лицо князя бледнело все больше и больше, как капли пота выступили у него на лбу. Но он видел тоже, как вместе с этим становилась все спокойнее и спокойнее Маша.

Наконец, она начала дышать ровно и глубоко, и снова улыбка явилась у нее на губах. Князь остановился, выпря-

мился, закрыл глаза и опустил руки, как человек, готовый лишиться сил.

Гурлов почувствовал, что за Машу нечего уже бояться, и двинулся к князю, чтобы поддержать его. Тот открыл глаза и слабо покачал головою, чтобы показать, что не нуждается в помощи.

– Послушайте, – сказал ему Гурлов, – я не знаю, что случилось с нею, – он показал на Машу, – но только вижу что-то недоброе. Дайте мне обещание, что больше вы никогда не станете усыплять ее.

– Будьте покойны – теперь после того, как я разбуду ее сейчас, она уже не поддастся ничьему усыплению!.. Мне трудно было сделать это, но хватило, однако, сил. Хорошо, что пришлось это сделать вовремя, – произнес князь, а затем наклонился над Машей, сказал ей: – Очнись, чтобы больше не засыпать так, – и дунул ей в лицо.

Маша шевельнулась и расправила руки, просыпаясь. Гурлов кинулся к ней.

Князь Михаил Андреевич оставил их вдвоем, а сам вышел в коридор. В его камере сидел солдат, загипнотизированный им; князь не хотел идти туда и не хотел тоже мешать Маше и Гурлову, оставаясь у них; поэтому он прошел по коридору мимо запертой двери, за которой, как он знал, сидели Чаковнин и Труворов, но не отворил ее, хотя ключи были у него в руках. Он опустил на стоявший в коридоре ларь. Ему необходим был отдых.

То, что пришлось ему проделать над Машей, то есть внушить ей раз навсегда полное неподчинение чьему бы то ни было гипнозу, – требовало значительной затраты сил.

Сделать же это он должен был не ради высказанной потом Гурловым просьбы, а вот почему: человек, загипнотизированный при известной повышенной чувствительности, может видеть, что называется «на расстоянии», то есть то, что происходит в данное время в любом месте, куда воля гипнотизирующего направит его духовное зрение. Но для этого нужно именно указание гипнотизирующего, сам же по себе загипнотизированный может вдруг увидеть только человека, который подвергал его когда-нибудь гипнозу.

Маша, усыпленная князем и не направленная им, сама увидела черного человека. Ясно было поэтому, что этот черный человек имел уже влияние на нее, то есть ему случилось загипнотизировать ее. Михаилу Андреевичу нетрудно было догадаться, когда именно. Черный человек приходил к нему под видом доктора; в качестве же доктора он зашел и в комнату Маши, сразу увидел ее впечатлительность и воздействовал на нее. Это было очевидно. И воздействие оказалось очень сильным, потому что дало себя знать сейчас же, как только Маша оказалась в гипнозе, вызванном хотя и другим лицом, то есть князем Михаилом Андреевичем.

Князь знал, каково может быть влияние черного человека, а потому решил, что необходимо прервать его сразу и навсегда, чего бы это ни стоило. И он сделал все усилия, чтобы

добиться этого.

Теперь после того, что он сделал, Маша уже не поддастся ни черному человеку, ни кому другому, ни даже самому князю.

Он поспешил остановить влияние на нее черного человека, не дав договорить ей то, что она видела. А она сказала, что видит, как черный человек вынул из секретного ящика в столе сверток бумаги, и как он направился с ним к камину. В камине она видела огонь. Тут князь прервал ее.

Теперь, когда всякая опасность для Маши миновала, он стал думать о себе. Он не сомневался, что этот сверток бумаги в руках черного человека был не что иное, как «его» документы, которых он искал и достать которые добивался так долго. Черный человек, получив их в свои руки, держал их в секретном отделении своего стола до тех пор, пока думал, что может воспользоваться ими для того, чтобы воздействовать на князя. Но вчера после их разговора он должен был убедиться, что такой расчет его совершенно напрасен. Сегодня он мог решиться на то, чтобы уничтожить эти документы, и вот он нес их к камину. Но бросил ли он их в огонь? Этого не знал князь Михаил Андреевич, которому лишь оставалась слабая надежда, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство помешало черному человеку... Ведь если документы сожжены – тогда все кончено, тогда работа многих и долгих лет должна остаться без результата!

XV

Косицкий на свое донесение в Петербург получил ответ, в котором было приказано ему немедля же приступить к составлению особой комиссии из высших губернских властей для суда над виновными в убийстве князя Гурия Львовича Каравай-Батынского. При этом ему предписывалось сделать также последнюю попытку, чтобы привести и остальных обвиняемых к добровольному сознанию.

Для этого последнего убеждения пред судом князь Михаил Андреевич был привезен из кордегардии в дом к Косицкому.

Дом этот был небольшой, но богатый и принадлежал князьям Каравай-Батынским. Когда покойный князь Гурий Львович приезжал в город, то останавливался здесь, но новый, ныне арестованный владелец ни разу не заглядывал сюда.

Свое огромное богатство Гурий Львович приобрел благодаря своему «случаю», но этот дом в городе был еще дедовский и достался ему как родовое имение. Он отделал его очень роскошно внутри, но снаружи оставил в прежнем виде. До этого дом был необитаем долгое время. Много лет назад здесь жил только совсем еще молодым человеком князь Михаил Андреевич, которого Гурий Львович, постоянный петербуржец, и не видал никогда, и не знал вовсе. Князь Ми-

хаил Андреевич с юных лет сторонился ото всех и, главное, от родичей. Теперь он был насильно привезен в этот дом к допросу.

Его ввели в небольшую комнату с дубовым навощенным полом, с ясеневою мебелью, с обтянутыми по-старинному расписным холстом стенами. Он сел в ожидании, пока позовут его, у окна. Один из привезших его солдат стал с ружьем у двери.

Косицкий заставил долго ждать себя. Князь Михаил Андреевич сидел терпеливо, сложа на коленях руки. Казалось, он так задумался, что не сознавал окружающего, но он был в этой комнате, в этом доме, в этом саду, который глядел в окна, – только видел их не такими, какие они были теперь, а какими знал он их прежде.

Сад тогда не разросся еще так во все стороны своими густыми, оголенными теперь ветвями. Тогда была цветущая, благоухающая весна; вместо снежного покрова – зеленела трава, листья шептались и шуршали. Небо звенело песнью птиц, и все кругом было наполнено песнью. Комната была убрана иначе, проще, но как хорошо жилось в ней!.. Вот в том углу, где дремлет, опершись на свое ружье, солдат у двери, стояли клавишины. Князь видит себя молодым, сияющим и счастливым. Он стоит возле этих клавишин. Его молодая жена, это чудо красоты и добродетели, играет тихую, но торжественную мелодию. Эти звуки дополняют все и все поглощают собою. Все кругом – гармония и любовь.

И помнит князь другое время. Тот же дом. Глубокая осень. Желто-красные листья падают в саду, и изредка маленькие вихри поднимают их с земли и вертят. Он ходит по этой комнате и ждет. Через два покоя отсюда совершается великая тайна – тайна рождения нового человеческого существа, и это существо – его и ее сын. Почему сын, князь не знает, но уверен, что будет непременно сын. Он ходит и прислушивается. Когда раздается далекий, заглушённый затворенными дверями крик, останавливается; крик прекращается – и он снова ходит. Наконец, ничего не слышно. Затихло все. «Кончено!» – говорит себе Михаил Андреевич и знает уже, что случилось ужасное, непоправимое, отчаянное – его жена умерла. Он знает это и, когда в дверях появляется бледное лицо повитухи, сам первый говорит ей, что его жена умерла, и читает в ее выражении подтверждение этому.

– Мальчик... – хочет сказать повитуха, но князь не слушает, а машет рукой и идет из дома.

Он идет, куда глаза глядят, долго блуждает по городу и, наконец, попадает, сам не зная как, в свой сад.

Вечер. Он идет в дом. Гроб стоит между свечами. Плакальщицы воют по найму, дьячок читает нараспев псалтырь. Она лежит мертвая. Но это – не она, а то, что было ею, а ее нет. Князь минует зал, где стоит гроб, идет к себе в комнату и рядом слышит детский – новый, не привычный уху – крик, настойчивый, требовательный, властный, не признающий ничего.

Это кричит тот сын, которого ждали они вместе. Но ее – дорогой жены – уже нет. Почему, кто виною этого? Виною этот кричащий сын... И недобрые, злые чувства начинают волновать князя. Зачем явился этот мальчик? Для того, чтобы отнять у нее жизнь, у нее, которая была весь смысл жизни самого Михаила Андреевича. Он не хочет видеть этого мальчика, не хочет знать его. Он берет деньги и ночью уезжает, бежит, оставляя и дом, и сына.

Он бросает их на произвол судьбы и в отчаянии едет, сам не зная куда и зачем, переезжает из одного города в другой, нигде не может найти себе места. Недавнее счастливое прошлое живо еще в нем, а на самом деле оно уже умерло и не вернется вновь.

Проходит целый год в этих скитаниях. Наконец князь успокаивается, начинает понимать, что ребенок не виноват ни в чем, что ведь этот ребенок – его сын, что он обязан вспомнить и позаботиться о нем.

Князь вдруг спохватывается и спешит вернуться. Дом он находит заколоченным. Никого нет в нем, даже сторожа. Конечно, ушли все. Крепостных у князя не было; у него служили наемные, чужие крепостные, бывшие на оброке. Куда они девались все – неизвестно. Князь не мог найти следы их. Не мог он найти и следы сына. Он объездил всех повитух в городе. Все они говорили, что никогда не принимали у него. В полиции, у начальства, в метриках не было никаких указаний относительно рождения у него сына. Мальчик исчез,

словно в воду канул.

И вот, когда князь Михаил Андреевич потерял последнюю надежду на то, чтобы узнать что-нибудь о своем сыне, этот сын стал ему вдруг особенно дорог, и особенно тяжело стало ему одиночество.

С тех пор целью его жизни сделалось желание найти и вернуть себе мальчика. Уехав, он бросил сына на произвол чужих людей, потому что ни родных, ни даже знакомых у них в городе не было. Он и его жена так были полны друг другом, полны собою, что не нуждались ни в ком и никого не знали. Чужие люди исчезли, исчез с ними и мальчик.

Долгое время всякие попытки узнать что-нибудь о нем оставались совершенно тщетными.

Наконец, когда князь почти дошел уже до отчаяния, вдруг явился проблеск надежды. К нему в дом пришел без зова старик-немец, переплетчик. Станный разговор его показался интересным князю. Михаил Андреевич не знал переплетчика, но тот превосходно, как оказалось, был осведомлен обо всем, что касалось самого князя. Ему было известно все, и его тихая, мерная речь действовала удивительно успокоительно.

Мало-помалу Михаил Андреевич сошелся с этим немцем и был посвящен им в первую степень братства свободных каменщиков, или масонов.

От масонов была обещана князю помощь в его розысках сына, но прежде всего от него требовались терпение и по-

слушание.

По распоряжению братства, он должен был отправиться за границу. Тогда начались те долгие скитания, в течение которых князю пришлось вынести много испытаний. Но вместе с ними или по мере их Михаил Андреевич был возводим и посвящаем в высшие степени масонства, причем ему открывались тайны братства и тайны человеческой жизни, недоступные простым смертным.

Князь неустанно работал над собою и мало-помалу, как бы кладя камень за камнем, возводил в себе храм великого духа. Вместе с этим он подвигался медленно и верно к положенной себе цели найти того, кого он искал. Приобретенные им долгой борьбой и работой знания открыли ему, что он найдет, а также и признаки того времени, когда он найдет.

Время это близилось. Знания не могли обмануть. Нужно было лишь не обмануть самого себя, то есть не сделать чего-нибудь такого, что помешало бы направить судьбу так, как нужно. Михаил Андреевич владел тайной направления судьбы и знал, что не он зависит от нее, а она от него.

Время близилось. Братья-масоны дали знать ему, что он получит документы, по которым найдет своего сына. Эти документы уже были доставлены к губернатору, ныне отставленному, тоже масону. Он должен был переслать их Михаилу Андреевичу.

Таким образом князь был почти накануне разрешения задачи, мучившей его почти всю – по крайней мере, сознатель-

ную – жизнь.

Но он сделал ошибку, не выждав, пока документы будут пересланы ему, а сам послал за ними Чаковнина. Последний подходил под условия того, как был определен Михаилу Андреевичу человек, который должен был доставить ему заветные бумаги.

Он думал ускорить, хотя обязан был ждать, и потому отдал свое испытание, продолжил его. У Чаковнина документы были похищены. Но все же князь знал, что получит их, получит не в нынешнем году, как следовало, а в будущем, и не в каком другом месте, а именно в Вязниках. Настолько ему открыта была книга будущего, и он прочел в ней.

Поэтому он, уезжая из Вязников, так определенно давал свои приказания дворецкому, говоря ему, что вернется через год и три дня. Год же этот он должен был провести в заключении. Таково было последствие его поспешности.

Однако, что бы ни случилось в этот год, он не должен был сомневаться, что достигнет в конце его своей цели. Всякое сомнение, всякое колебание строго направленной к достижению желаемого воли могло повредить. И в этом заключалось главное испытание.

XVI

Косицкий все еще не показывался и не звал к себе Михаила Андреевича, по-прежнему смиренно сидевшего у окна и предававшегося воспоминаниям, вызванным в нем обстановкой.

Вдруг князь, как бы очнувшись, повернул голову к двери. Он почувствовал, что сейчас войдут в нее, и кто именно: черный человек.

И действительно, дверь в эту минуту отворилась, и в ней показался новый тюремный доктор, тот черный человек, который почти всю жизнь преследовал князя, где бы тот ни был. Он вошел и без поклона, не здороваясь, остановился пред князем, после чего заговорил по-французски, очевидно, чтобы солдат у двери не мог понять их:

– Итак, сейчас вас позовут к последнему допросу. После завтра будет суд. Вас обвинят, в этом нет сомнения. Сегодня еще есть время нам сговориться. Я прошу вас подумать. Последнюю попытку делаю я. Князь, что вы мне ответите?

Михаил Андреевич равнодушно произнес:

– Отвечу вам все то же самое: нет! нет! нет!

– Подумайте, князь! Ведь документы о вашем сыне у меня в руках. Достать их было целью всей вашей жизни. Сколько вы работали для этого! И неужели теперь, когда вы почти у цели, когда вы можете получить их от меня, теперь вы не

сделаете последнего усилия? Ведь чего я прошу у вас? Безделицы в сравнении с тем, что вы получите за это.

– Вы просите безделицы? – повторил князь.

– Да. Открыть мне известные вам тайны. Только! И, повторяю, документы будут в ваших руках, и вы будете освобождены от суда, потому что я знаю, где находятся настоящие убийцы Гурия Львовича, и могу открыть их правосудию для того, чтобы спасти вас. Один из убийц мертв теперь – он повесился вскоре после сделанного преступления, но двое других живы, и я знаю, где находятся они и, может быть, готовы принести покаяние. Видите: я недаром, не наобум даю обещание. Я в силах выполнить его. А что документы находятся в моих руках – вы сами сказали прошлый раз, что знаете это. Значит, и их я могу передать вам, когда пожелаю... Теперь все зависит от вас самих... Подумайте и соглашайтесь... Я вам дам некоторое время на размышление.

Вслед за тем черный человек отошел от князя, как бы не желая мешать ему принять свое решение.

Отошел он к печке, в которой догорали и чуть тлели угля, взял кочергу и стал ворочать ею в печке, явно для того, чтобы повернуться к князю спиной и сделать вид, что не смотрит на него. Но исподтишка он все время наблюдал за Михаилом Андреевичем, не оставляя кочерги, продолжая ворочать ею и изредка постукивая о заслонку.

Князь сидел молча на своем месте, не выказывая ни малейшего желания продолжать разговор.

Наконец черный человек, потеряв терпение, взбешенный, с силой ударил кочергой по заслонке, и кочерга разломилась пополам.

– Странно, – проговорил он, видимо чувствуя досаду за выказанный гнев и желая замять это, – вот никогда не думал я, что одним ударом разломлю такую полосу железа. Должно быть, эта кочерга была времен прадедовских. От долгого употребления железо кристаллизуется и тогда ломается, как сахар. С осями это чаще всего случается...

Он говорил, а князь Михаил Андреевич смотрел на него, и был один миг, что сознание, всегда столь светлое и ясное у него, вдруг затмилось. Ему было указано, как признак, что документы передаст ему человек, который разломит одним ударом полосу железа. Но неужели этот человек будет этот черный, требующий от него выдачи тайн, в которые князь посвящен был под известным условием: он поклялся никому не открывать их, причем знал, что за открытием этих тайн следовала смерть. Нет, быть этого не может! Такою ценою все-таки не купит Михаил Андреевич ничего, как бы дорого ни ценил что-либо.

И он тут же отогнал готовое уже овладеть им сомнение.

– Так вы не согласны? – спросил черный человек.

– Нет, – ответил князь, – вы – не тот, кто передаст мне бумаги.

– Только один я могу их передать вам, потому что они у меня, и ручаюсь вам, что не выпущу их из своих рук. Согла-

шайтесь!

Искушение было сильно. Однако князь Михаил Андреевич поднял глаза – лицо его было спокойно – и ответил:

– Нет!..

– Так знай же ты, – почти крикнул черный человек, – я сжег твои бумаги, понимаешь, сжег и пришел теперь для того лишь, чтобы насмеяться над тобою. Надо было соглашаться прошлый раз. Сегодня уже поздно. Я сжег их, и с ними канула в вечность всякая надежда найти твоего сына. Последние следы уничтожены. Ваше сиятельство будет обвинено в убийстве, лишено своих достоинств и сослано в Сибирь с первой же партией каторжных. Ничего! Я буду в окошечко глядеть, как поведут вас в кандалах мимо меня, буду в окошечко глядеть и чаек попивать, а не то и кофе, – вкусный напиток очень, – а вы пойдете, кандалами-то побрякивая, по морозцу, по морозцу. Оно холодно, да ничего не поделаете – надо было раньше соглашаться и раньше думать. А теперь все кончено. И сына вам не видать. Я сжег документики, уничтожил, а других нет, и копий нет нигде, да и не могло быть.

Впервые в жизни ощутил князь Михаил Андреевич то странное, чисто внешнее проявление внутреннего сильного волнения, про которое в просторечии говорят, что кажется, что волосы шевелятся.

Злорадство, издевательство и насмешки черного человека не оскорбили его. Он давно стал выше чисто условных оскорблений, давно осознал ничтожность и полную мелоч-

ность их. Его поразили слова, что документы сожжены. Это известие было страшно, ужасно, невозможно!.. Это не могло и не должно было случиться.

И ужас заключался не в том, что теперь, когда документы сожжены, нельзя было найти сына и приходилось лишиться единственного верного способа увидеть его; нет, ужас заключался не в этом, а в том, что те знания, которые приобрел Михаил Андреевич и которым он верил, убежденный в несокрушимой истине их, оказывались несостоятельными. Эти знания говорили, что документы будут получены князем, а между тем оказывалось, что документы сожжены и получить их нельзя.

Голословному, простому уверению черного человека князь не поверил бы, как бы тот ни убеждал, что уничтожил документы. Но у князя было подтверждение этого уверения: Маша в своем гипнозе видела, как черный человек нес бумаги к пылающему камину. Значит, правда, что он сжег их. Но если это – правда, то все знания оказывались ложью. Зачем же было приобретать их, зачем работать, когда именно в том случае, ради которого они были приобретены, они оказались несостоятельными и дали неверное указание? Ведь нельзя же восстановить то, что уничтожено огнем?

«Нельзя восстановить то, что уничтожено огнем!» – повторил себе Михаил Андреевич, и вдруг мысли его просветлели.

«Надейся и знай, что уничтоженное огнем не погибло без-

возвратно!»

Тайны этого тезиса, изображенного в книгах знаками высшего молчания, не уяснил еще себе Михаил Андреевич. Он не был посвящен в нее, но обязан был верить ей. И это сознание спасло его. Что бы ни сделал черный человек с документами, хотя бы сжег их – он, князь Михаил Андреевич, все-таки получит их в назначенный, определенный срок. Таково было знамение судьбы, которая зависела от самого князя. Усомнись он в себе – и судьба подчинит его своей зависимости.

– Нет, – твердо сказал он черному человеку, – что бы ты ни говорил мне, как бы ни испытывал меня – я знаю, что знаю!.. Уйди – я не знаю тебя!..

Черный человек почти с удивлением посмотрел на него. Внешность князя оставалась спокойною, как всегда. Ни одним движением мускула он не выдал себя.

– Лгут твои знания – я сжег твои бумаги, – проговорил черный человек поворачиваясь, так как и на этот раз ничего не добился от князя.

Он повернулся и ушел, не сказав больше ни слова.

Вскоре Михаила Андреевича позвали к Косицкому для последнего допроса, после которого ему грозили неминуемое осуждение и ссылка.

XVII

На Труворова в заключении напала его спячка, и он спал, как сурок, почти день и ночь.

Был вечер. Фонарь горел над дверью. Чаковнин сидел у стола и злился. Ему давно хотелось курить. Ему было не по себе взаперти. Он злился главным образом на то, как товарищ его по заключению Труворов сравнительно легко переносил неволю.

«Ишь его, дрыхнет!» – думал Чаковнин, глядя на Никиту Игнатъевича, спокойно лежавшего на своей койке и мерно дышавшего, с лицом невинного младенца в безмятежном сне.

– Никита Игнатъевич, а, Никита Игнатъевич! – окликнул он его наконец. – Да будет вам спать! Просто смотреть противно.

Труворов открыл глаза, поднял голову и бессмысленно посмотрел на Чаковнина.

– Будет спать, говорю, – повторил тот. Никита Игнатъевич почавкал губами, опять посмотрел и снова опустил голову на подушку.

– Ведь опять заснет! – с досадой протянул Чаковнин.

– Ну, что там заснет! – отозвался Труворов. – Ну, какой там, если спится?..

– Ну, а мне не спится! Мне курить хочется, а табаку нет.

– Ну, чего там курить?.. Ну, какой там курить?

– Вы думаете, без табака прожить можно? Оно, пожалуй, и можно, только обидно очень... В самом деле – чего мы впутались в эту историю? Ну, хорошо, князь Михаил Андреевич, ну, он там в своем деле, а мы-то чего – в чужом пиру похмелье? Из-за чего мы-то сидим?

Труворов задумался и сделал такое глубокомысленное лицо, словно готовился сказать величайшее философское изречение.

– Ну, что там сидим, ну, какой там? – проворчал он и повернулся к стене, спиной к Чаковнину.

– То есть забодай вас нечистый! – окончательно рассердился тот. – Вас, кажется, ничего возмутить не в состоянии... Поймите вы, я хоть не имею права претендовать на князя Михаила Андреевича, потому что все-таки виноват пред ним. Я ему, кажется, подгадил тем, что каких-то его документов не уберег – украли у меня их. Ну, а вы-то из-за чего?

Труворов ничего не ответил. Некоторое время длилось молчание.

– То есть попадись мне эта Дунька, – начал опять Чаковнин, – вот, как жерновом, в порошок бы ее истер... со света сжил бы... Никита Игнатьевич, вы опять заснули? – спросил он, видя, что Труворов не выказывает ни малейшего желания к продолжению разговора. – Никита Игнатьевич, вы со мной говорить не желаете?

– Ну, что там говорить!

– А что же, по-вашему, спать лучше? Вы мне вот что скажите: в последний раз, как заходил к нам этот тюремный доктор, черный этот... Так вот, он обронил у нас бумажку, картон; вы, по обыкновению, спали тогда, а я бумажку поднял. Странная – обрезана зигзагом, и часть какого-то профиля на ней черного изображена. Я все хотел вам показать, да забыл.

Труворов тяжело задвигался. Очевидно, сообщение Чаковнина показалось ему достойным его внимания. Он грузно повернулся, спустил ноги на землю и сел на койку.

– Ну, какая там бумажка, Александр Ильич?

– Ага, заинтересовались!..

Чаковнин достал из кармана кусок картона, обрезанного зигзагом, с половиной черного профиля, и подал Труворову. Тот взял и стал вертеть во все стороны, внимательно рассматривая. Он смотрел долго и потом вдруг, не найдя ничего особенного, обиделся. «Какая там – ничего... там себе просто!» – и протянул кусок картона обратно Чаковнину.

– Так вы думаете, что это так, ни к чему? – спросил тот. – А я все ждал, что этот доктор придет спросить, не потерял ли; я ему хотел отдать, чтобы он мне за это табаку достал. Ведь он может, если захочет, табаку мне достать, – и Чаковнин спрятал назад в карман картон.

На дворе барабан пробил зорю.

– Девять часов, – сказал Чаковнин. – Сейчас воду прине-

сут.

И действительно, щелкнул замок в двери, и коридорный солдат принес две кружки с водою и два ломтя черного хлеба и, поставив все на стол, удалился, как делал это ежедневно.

– Вы ешьте мой хлеб, – предложил Чаковнин Труворову, – мне сегодня есть не хочется.

Никита Игнатьевич забрал оба ломтя и стал жевать хлеб, откусывая большими кусками. Он делал это с таким аппетитом, точно ел какое-нибудь особенно изысканное блюдо.

В дверь, у самого ее низа, раздался стук.

– Никак мыши скребут опять? – проговорил Чаковнин и подошел к двери.

Стук повторился, и в щель под дверью, у самого порога, просунулась сложенная полоской бумага. Чаковнин взял ее, развернул и прочел:

«Завтра вас выпустят вместе с Машей. Не оставьте ее. Она ни в чем не виновата, клянусь вам. Я знаю, почему и зачем бывала она у князя. Так было нужно. Напрасно Никита Игнатьевич сказал про него, что он – дурной человек. Сергей Гурлов».

Чаковнин еще раз прочел записку и передал ее Труворову. Тот в свою очередь долго читал и наконец произнес:

– Ну, вот, так и я был виноват пред ним... Ну, вот, и сидел... Ну, а какой там выпустят!..

XVIII

Против Чаковнина и Труворова не имелось решительно никаких улик, и их освободили действительно на другой день, оставив, однако, в сильном подозрении.

Освобождение произошло очень просто: пришел к ним смотритель, попросил одеться, вывел их за ворота и сказал, что они могут идти на все четыре стороны.

На них были их дворянские шубы и меховые шапки; холод не успел пронизать их; морозный воздух приятно освежал лицо после долгого сидения в комнате. Чаковнин чувствовал себя очень хорошо и весело.

Труворов зевнул во весь рот и казался вовсе не в восторге, что очутился на воздухе.

– Что? Вам спать, небось, хочется? Не выспались еще? – стал дразнить его Чаковнин.

– Ну, что там выспался! – и Никита Игнатьевич потянулся, точно и впрямь готов был даже в тюрьму вернуться, чтобы только иметь возможность поспать еще.

– Эх, хорошо бы теперь рюмочку анисовой да закусить пирожком или грибочком! – как бы подумал вслух Чаковнин.

– Ну, что там пирожком! – остановил его Никита Игнатьевич. – Вон к нам Маша того – навстречу...

Действительно, из тех же ворот кордегардии, у которых они стояли теперь, показалась Маша в салопе и с узелком в

руках.

Она шла, улыбаясь, и радостно закланялась знакомым, ища глазами возле них мужа.

Благодаря тому, что ежедневно в последнее время князь Михаил Андреевич выпускал ее из ее камеры по вечерам к мужу, заключение вовсе не было тяжело для нее. Она знала, что ни она, ни муж ее ни в чем не виноваты, и потому не боялась и думала: подержат и отпустят. Вчера она виделась, по обыкновению, с Гурловым. Сегодня выпустили ее, и она была уверена, что и он тоже выпущен.

– А где же муж? – спросила она, подходя к Чаковнину и Труворову. – Разве его не выпустили?

Те отозвались, что не знают.

Личико Маши выразило беспокойство.

– Я думаю, если выпустили нас, то нет причины и его держать, – сказал Чаковнин.

Они с Труворовым не знали о сделанном Гурловым признании.

– Подождем его тут, – предложила Маша.

– Ну, что там подождем, ну, какой там!.. – запротестовал Никита Игнатьевич.

– Да что вам, трудно, что ли, подождать немного? Он, может, сейчас выйдет!.. – возразил Чаковнин, плотнее запахивая шубу.

– Да ведь вы же того... насчет какой там пирога...

– Пирога – это хорошо бы было! – опять подтвердил Ча-

КОВНИН.

– Ну, вот, пирог того... тут... напротив, а то что там на морозе? ну, какой там на улице... – и Никита Игнатьевич тащил Чаковнина и Машу за рукав и показывал на домик в четыре окошечка, почти вросшие в землю, по другую сторону улицы.

В этом домике жила старушка, вдова-помещица, Клавдия Ивановна Ипатьева, знакомая Труворова, который, оказалось, всех знал в городе и приходу которого все были рады.

Он увлек с собою Чаковнина и Машу. Александр Ильич не заставил себя просить, ожидая угощения пирогом, так как вспомнил, что сегодня было воскресенье – значит, пирог пекся в каждом порядочном доме, а в непорядочный дом не повел бы их Никита Игнатьевич. Маша пошла потому, что из окон дома были видны ворота, из которых должен был выйти, по ее мнению, муж, и таким образом она могла поджидать его, сидя в домике.

Старушка Клавдия Ивановна очень обрадовалась приходу Труворова, а потом и его друзьям. Когда же она узнала, что они были заключены по приказу петербургского чиновника в кордегардию по подозрению в деле князя Каравай-Батынского, то разжалобилась до того, что прослезилась и выставила на стол бутылку заветной наливки, которую откупоривала только в самые большие праздники.

– Ах, вы, мои болезные, – повторяла она, – да вы бы грибок-то, грибок, а не то огурчиков! Так и сидели невинные в

темнице? Сейчас вам яичницу-глазунью принесут, голубчики... вы груздя попробуйте – со сметаной груздь очень освежает...

Чаковнин отдавал должное и груздю, и яичнице, и пирогу, и наливке. Никита Игнатьевич ел ипил совершенно так же, как сжевал вчера два ломтя черного хлеба. Маша ни к чему не притронулась, не сводя глаз с окон.

Кончили завтракать. Она все время смотрела в окно, но напрасно: Гурлов не показывался из ворот кордегардии.

Как только кончили завтракать, Чаковнин встал и начал откланиваться. Он сказал Маше, что пойдет сейчас в гостиницу и узнает, нет ли там ее мужа. Гурлова могли выпустить раньше, и он мог ждать теперь их в гостинице.

Маша не поверила в возможность такой комбинации, потому что, будь ее муж выпущен, он ждал бы ее тут, у ворот; но все-таки она была благодарна Александру Ильичу.

Чаковнин же направился в гостиницу не столько ради Гурлова и утешения Маши, сколько ради того, чтобы узнать, не там ли еще Дунька, опоившая его дурманом в чае и украсившая у него из сумки бумаги.

Он до сих пор чувствовал себя виноватым пред князем Михаилом Андреевичем и хотел, если не поправить, то, по крайней мере, выместить свою вину на Дуньке.

Дунька сидела в гостинице, в своем номере у окна, и жевала шепталу. Она сильно пополнила от своей праздности и вечной жвачки, которым всецело предавалась в последнее

время. Дела ее с Косицким шли по-прежнему или, пожалуй, лучше прежнего, потому что тот поговаривал уже о том, что возьмет ее с собою в Петербург, куда, вероятно, выедет на днях, покончив с порученным ему делом князя Каравай-Батынского. Она не видала, как вошел в подъезд Чаковнин, и сама отворила ему дверь, когда он постучал к ней в комнату.

– Ах, ты, забодай тебя нечистый! – проговорил Чаковнин. – Не ждала меня видеть? Ну, поговорим, матушка!..

Как ни были сердито лицо и грозен голос Чаковнина, Дунька не оробела и, отступая от двери, проговорила только:

– Ишь, молодец! Входит и не поздоровается даже...

– А что же с тобой церемонии, что ли, разводить? Мне с тобой о деле говорить надо.

Дунька смело посмотрела ему прямо в глаза и проговорила:

– Дело, так дело – давай говорить о деле, а чего ж кричать-то зря?..

Чаковнин должен был внутри согласиться, что, и правда, зря кричать было нечего.

– Слушай, – сдерживая уже свой зычный голос, сказал он, – ты у меня из сумки бумаги вытащила?

– Никаких я бумаг не таскала.

– Врешь, вытащила!.. Я знаю, что вытащила.

– А я говорю – нет. Никаких я бумаг не таскала.

Дунька произнесла это так нагло и так нагло, видимо, вралла при этом, что кровь опять прилила у Чаковнина, и ему

захотелось так хватить эту Дуньку, чтобы она пластом легла. Но он удержался, вынул платок и вытер им лицо.

Из кармана у него, когда он вынимал платок, упал кусок картона, обрезанный зигзагом, с половиной профиля. Дунька заметила это, узнала картон и проговорила:

– А вы от него?

– От кого? – переспросил Чаковнин.

Дунька показала на картон, лежавший на полу. Чаковнин поднял его.

– Пойдите, – сказала Дунька и, встав, достала из комода другой, бывший у нее, кусок картона, который приложила к тому, что был в руках у Чаковнина. Зигзаги пришлись совершенно точно один в другой, и черный профиль соединился.

«Вот оно что!» – сообразил Чаковнин.

Он вспомнил слова князя Михаила Андреевича, что документы были похищены черным человеком при посредстве только Дуньки. Но кто был этот черный человек, он не знал до сих пор. Теперь этот картон наводил его на след. Половина его была у Дуньки, другую половину уронил в кордегардии, где они сидели, тюремный доктор, черномазый... Конечно, «черный человек» – не кто иной, как этот доктор. На сношения его с Дунькой указывали эти обрезки картона, прекрасно соединявшиеся.

Чаковнину пришло в голову, что побить Дуньку за ее вероломство он всегда успеет, а теперь, пожалуй, можно как-нибудь лучше воспользоваться давшимися ему в руки случа-

ем, и он вдруг ответил:

– Да, я от него.

– Так чего ж кричали-то спервоначалу?

– Пошутил.

– Хорошо, – сказала Дунька, – только ежели вы от него, то зачем же заставлял он меня брать эти бумаги у вас, а не сами вы ему передали их, ежели вы с ним заодно?

– Тогда был с князем, а теперь заодно с ним, потому он помог мне теперь из тюрьмы выбраться.

Чаковнин сказал это очень просто и гладко, словно никакого усилия не стоило ему придумать такую вещь. У него она действительно сказала гладко, и он внутренне сам себе удивился, что ему удалось соврать так складно. Дунька поверила ему.

– Что ж вам нужно, если вы от него? – спросила она.

– То есть зачем я пришел?

– Ну, да, зачем вы пришли?

Чаковнин пришел, чтобы выместить на ней ее поступок с ним, но теперь он уже не мог сказать то прямо. А что сказать иное – он не знал.

– Верно, он сам не может ко мне зайти сегодня? – спросила Дунька, сама того не зная, что подсказывает Чаковнину, что ему отвечать ей.

– Да, именно, он не может зайти, – повторил тот, а сам подумал:

«Забодай тебя нечистый! Того и гляди, еще проврешься»

с тобою!»

– Так я вам должна передать новости о деле; вы за тем присланы?

– Ну, да! Сами знаете и понимаете!

– Ну, так вот скажите ему, что вас выпустили с Труворовым, впрочем, это ему, вероятно, известно через вас, а осуждение князя и Гурлова состоится сегодня. Завтра их переведут из отдельного помещения в общее арестантское, а затем с первой же партией отправят в Сибирь.

«Да неужели?» – чуть не вырвалось у Чаковнина, но он удержался и проговорил только:

– Вы это наверное знаете?

– Ну, еще бы!

– От кого же вы это слышали?

– От Косицкого.

– От самого Косицкого? Когда же, каким образом?

– Да как обыкновенно – вчера вечером, когда я, как всегда, пришла к нему.

«Вот оно что!» – опять повторил себе Чаковнин, чувствуя, что не жалеет, что сдержался, и сразу поняв всю цепь отношений.

– Так это бесповоротно, что их осудят? – сказал он.

– О, да! Можете передать, что бесповоротно. Это я знаю наверное... Успокойте его, что дело кончено.

– Хорошо, я успокою его! – согласился Чаковнин и встал, прощаясь.

То, что он узнал так случайно от Дуньки, было ценно для него. Ее болтовня сняла как бы повязку с его глаз, и он мог видеть теперь вещи, которых и не подозревал.

Так этот петербургский чиновник настолько близок с Авдотьей, что она каждый вечер бывает у него? А этот черный доктор действует через нее и через нее получает сведения?.. Он, Чаковнин, обещал «успокоить» этого доктора и сделал это совершенно искренне, только не в том, конечно, смысле, в каком поняла его Дунька. Нужно было так успокоить доктора, чтобы тот перестал быть опасен. Кстати, и уворованные документы были у него. Надо было и их востребовать.

Все это заставило Чаковнина немедленно, выйдя от Дуньки, направиться в канцелярию губернского правления, чтобы узнать там, где живет доктор, и идти к нему.

Он хотел было зайти к Ипатьевой, где осталась Маша, и сказать ей, чтобы она напрасно не ждала мужа, но потом решил, что с дурными вестями спешить нечего, а лучше скорее повидаться с доктором.

XIX

В губернском правлении первый же сторож сказал Чаковнину адрес, и он пошел, сам еще не зная, что скажет и что сделает у доктора. Ему казалось только, что нужно идти к нему, и как можно скорее.

Доктор жил недалеко от кордегардии, где сидели они все и против которой был домик Ипатьевой. Вопреки обыкновению, дверь у доктора оказалась заперта наглухо.

«Ишь, сейчас видно, что злодей, – думал Чаковнин, стучась к доктору, – разве честные люди запирают двери?»

При тогдашнем множестве даровых слуг из крепостных двери на улицу не принято было запирать, а в передней всегда дежурил кто-нибудь из лакеев.

Лицо гайдука сразу показалось знакомым Чаковнину, и он стал припоминать, где он видел его.

– Доктора дома нет, – сказал гайдук.

И, как только он заговорил, так сейчас Чаковнин узнал его. Это был один из гайдуков покойного князя Гурия Львовича.

Видно, и он в свою очередь тоже узнал Чаковнина, что, впрочем, было нетрудно: кто раз видел грузную, огромную фигуру Чаковнина, тот забыть ее не мог.

– Ну, я подожду – все равно, коли дома нет, – возразил Чаковнин, желая войти.

Гайдук загородил ему дорогу.

– Говорю тебе, что я подожду, – повторил ему Чаковнин, взял гайдука за плечи и, как ребенка, отстранил от двери, а сам вошел.

– Барин, так нельзя! – начал было гайдук.

Чаковнин только повернулся к нему:

– Ну, ты поговори еще у меня!..

И он вступил в сени, представлявшие стеклянную галерею, вошел в переднюю, снял там верхнее платье, миновал первую комнату – нечто вроде приемной, и вошел в следующую.

В этой следующей комнате он застал черного доктора сидящим за столом.

Доктор сидел и раскладывал что-то вроде карт, какие-то изображения на отдельных листках, смотрел на них и быстро писал цифры и странные знаки на лежавшем несколько в стороне пред ним листе бумаги.

– А мне сказали сейчас, что вас дома нет! – проговорил Чаковнин, входя. – Вот ведь как врут люди!..

Черный доктор встал и, видимо, поняв, что Чаковнин вошел к нему насильно, несколько тревожно спросил:

– Что вам угодно?

– Что мне угодно? – повторил Чаковнин. – А вот, видите ли, я буду с вами прямо говорить. Прежде всего мне угодно получить документы, которые были похищены у меня Авдотьей Ивановой и переданы ею вам. Я пришел к вам за ними.

Черный человек покачал головою.

– Если у вас пропали какие-то документы, то заявите об этом властям. Зачем же вы являетесь ко мне? Я здесь-не полицеймейстер.

– Я потому пришел к вам, что эти документы переданы вам.

– Откуда вы знаете это?

– От самой Авдотьи. Она только что сказала мне это.

– Разве она не могла солгать?

– Но ведь могла и сказать правду.

– Она вам говорила это при свидетелях?

– Нет.

Черный человек сел на свое кресло.

– Ну, так чего ж вы хотите от меня?

Весь облик этого человека, его манера разговора, взгляд, движения – все было не только неприятно Чаковнину, но даже отвратительно. Александр Ильич был взбешен своим заключением в тюрьме, был взбешен наглым грабежом у него документов, которые он взялся доставить князю Михаилу Андреевичу и которые похитили у него, был взбешен наконец тем, что до сих пор ему не удалось еще покурить, несмотря на свободу. Он подступил к черному человеку с лицом, искаженным гневом, с выкатившимися глазами и с протянутыми вперед руками, готовый схватить его за горло и тут же придушить, если он не исполнит его требования.

Он подступил к доктору с сознанием своей правоты и,

увлеченный этим сознанием, мог наделать непоправимых глупостей.

Но черный человек не потерялся, не закричал, не стал звать на помощь. Он только протянул руку вперед и спокойно и тихо проговорил:

– Александр Ильич, да вы сядьте, мы, может, и столкнемся с вами. Трубочку не угодно ли?

То, что черный человек назвал Чаковнина по имени и отчеству, поразило его, а упоминание о трубке сразу укротило вспышку и приливы гнева. Чаковнин остановился.

Черный человек не встал, а как-то соскользнул со своего кресла, точно змея, быстро пробрался в угол, где стояли на круглой подставке трубки и, взяв одну из них, подал ее Чаковнину, успев зажечь в камине свернутый жгут из бумаги.

Александр Ильич не мог устоять, чтобы не взять трубки и, примяв табак большим пальцем, взял чубук в рот, а трубку подставил под зажженную бумагу, которую держал перед ним доктор. Затем он потянул из трубки и с удовольствием проглотил дым.

«Странный табак», – хотел сказать он, но ничего не сказал, а, не выпуская изо рта чубука, сел в кресло и снова глотнул дым.

Голова у него закружилась, в глазах пошли зеленые пятна, он хотел еще сказать что-то, но сознание улетело, рука упала и выронила трубку, голова свесилась, и глаза закрылись.

Черный человек поднял трубку, вытряхнул из нее в камин

пропитанный особым одурманивающим зельем табак и, поставив на место, вернулся к потерявшему сознание Чаковнину.

– Грубая, неразумная, не умеющая распоряжаться собою сила! – проговорил он. – Не тебе бороться со мною, хотя бы намерения твои и были благородны. Хочешь повелевать другому и не научился повелевать самому себе, не научился владеть своими привычками – от трубки отвыкнуть не можешь. Она сильнее тебя! – Он наклонился над Чаковниным, спокойно расстегнул его камзол, обшарил все карманы и, найдя кусок картона с половиной черного профиля, взял и положил его к себе. – Нет, не тебе повелевать! – повторил он, взглянув еще раз на Чаковнина, а потом ударил три раза в ладони.

На зов его явился гайдук.

– Возьми его, – приказал черный человек, – отвези в моей карете в больницу и сдай там от меня в палату сумасшедших. Я сам заеду вечером и распоряжусь.

Гайдук взял Чаковнина, как безжизненное тело, взвалил его на плечи и вынес.

Распорядившись с Чаковниным, черный человек снова сел к столу и предался своему занятию, от которого оторвал его неожиданный приход незваного гостя.

Он быстро-быстро испещрил весь лист бумаги цифрами и выкладками, потом несколько раз перечел их, иногда останавливаясь и как бы проверяя себя, наконец сложил бума-

гу, спрятал ее и, торопливо поднявшись, отправился в переднюю, оделся, вышел, кликнул ямские сани и велел везти себя в гостиницу.

Он застал Дуньку опять сидящую у окна с шепталою. Другого времяпрепровождения она не знала. Вошел он к ней, не постучав в дверь. Она вздрогнула при его приходе и проговорила:

– Как вы испугали меня! Я думала, это – опять тот бешеный, что вы прислали ко мне.

– Чаковнин? – спросил черный человек.

– Ну, да, он самый. Вы его не присылайте ко мне больше – ну, его!

– Да я и не посылал. Он сам к вам явился.

– Как же это так? А картон с профилею?

– Я вас предупреждал, что этот картон явится вам тогда, когда нужна будет вам помощь. Знаете, что вы были сегодня на волосок от смерти? Этот сумасшедший Чаковнин в ярости мог придушить вас. Ну, а картон явился вовремя. Он и спас вас. Благодарите меня!..

Дунька должна была почувствовать, что это – правда.

– А я ему все рассказала! – вырвалось у нее.

– Ничего. Он опять не опасен. Мне нужно было, чтобы только первое объяснение с вами прошло благополучно. Ну, оно миновало – вы и радуйтесь!

– А знаете что, – решила Дунька, – я все-таки пожалуюсь на него графу Косицкому.

– То есть, что он ворвался к вам, требовал каких-то документов, угрожал?.. Да, вы можете сказать это графу. Помешательство Чаковнина состоит в том, что он ищет какие-то документы, которые якобы похищены у него... Так и скажите графу. Ну, а теперь до свидания, мне некогда... торопиться надо. Так с князем покончено?

– Окончательно! – подтвердила Дунька.

– Ну, и отлично! До свидания пока!

– Пойдите, – остановила его Дунька, – вот сколько уж мы знакомы с вами, а между тем я все еще не знаю, кто вы.

– Я вам сказал уже, что это знать вам нельзя. Для вас я – черный человек, и только! – и он, поклонившись, вышел из комнаты.

Черный человек не лгал, сказав, что торопится и что ему некогда. Он спешил в больницу, в палату для сумасшедших, чтобы сделать распоряжения относительно отправленного им с гайдуком больного.

В те времена сумасшедшие дома представляли ужасные помещения, в которых безумные, почитавшиеся за зверей, действительно содержались, как звери. Их держали на цепях, кормили впроголодь, объедками, потому что жалобы их не принимались в расчет, как жалобы людей, потерявших рассудок, и эконом оставял деньги, отпущенные на рационы, преспокойно в свою пользу. При малейшем протесте сумасшедшего связывали, били, а при покорности с его стороны брили голову и капали холодной водой на оголенное темя.

Такую участь приготовил Чаковнину черный человек.

При таких порядках, господствовавших в сумасшедших домах, и здоровый человек мог легко с ума сойти, если попадал туда. А попасть здоровому было вовсе не так трудно, если этого желал доктор.

Таким образом черный человек безбоязненно отправил Чаковнина в больницу. Ему нужно было только теперь самому заехать туда, чтобы сделать заявление пред официальным осмотром больного. Осмотр же этот являлся простою формальностью.

Но каково же было удивление черного человека, когда он, приехав в больницу, узнал там, что никакого больного от его имени не привозили туда.

Он кинулся к себе домой – там ни гайдука, ни кучера не было. Лошади по чутью привезли к дому пустую карету, как доложил конюх, а Чаковнин, гайдук и кучер исчезли, неизвестно куда.

XX

Князя Михаила Андреевича вместе с Гурловым водили под конвоем для объявления приговора, который был только что постановлен.

Они оба были обвинены: Гурлов – в силу собственного сознания, как совершивший преступление, князь – как подстрекатель. Приговорены они были к ссылке в каторжные работы по лишении гражданской чести и чинов.

Этот приговор был объявлен им без соблюдения особенных формальностей: просто привели их, секретарь Косицкого прочел им, в чем дело, и увели их назад.

По-видимому, судьба их была решена. Судимы они были особою, по назначению из Петербурга, комиссиею, могли только жаловаться на Высочайшее имя, но поданная жалоба не задерживала, как им объяснили, приведения приговора в исполнение.

Между тем это исполнение особенно страшило Гурлова. Его не столько пугали каторжные работы, сколько страшила и заставляла возмущаться всю его душу процедура лишения гражданской чести. Для этого осужденного везли в кандалах на черной телеге, с доскою на груди с надписью преступления, через весь город на базарную площадь, взводили его на выстроенный с этой целью эшафот, громогласно читали приговор и под барабанный бой ломали над его головою шпагу

при всей толпе. Вот эта церемония казалась особенно ужасной Гурлову.

Но винить он мог лишь самого себя. Всею виною была его собственная легкомысленная и необдуманная горячность. Теперь он в сотый раз проклинал свою вспышку и сам себе удивлялся, как он забылся до того, что взвел на себя обвинение, ради глупой и беспричинной мести погубив и себя, и князя.

Он шел рядом с Михаилом Андреевичем под конвоем, возвращаясь в тюрьму, и молчал, опустив голову. Князь, стараясь утешить, тихо говорил ему по-французски, чтобы не понимали конвойные. Те знали, что ждало арестантов, которых они вели (приговор был объявлен в их присутствии), и из жалости пред их участью позволяли им разговаривать.

Гурлов долго шел молча и слушал князя; наконец он поднял голову и проговорил:

– Нет, это ужасно, как хотите, а через несколько дней повезут нас в этой телеге... Боже мой, что я наделал! Зачем, зачем я сделал это?

– Ну, может быть, и не повезут, – перебил его князь, – даже я наверное скажу вам, что не повезут.

– Как? Почему вы знаете? Вы имеете какие-нибудь сведения? – вдруг стал спрашивать Гурлов.

Все время в тюрьме он был – относительно, конечно, – спокоен и упал окончательно духом только сегодня, когда узнал, к чему приговорен. Он находился теперь в таком вол-

нении, что слова князя, в первую минуту подавшие было надежду, обрадовали его, и он готов был поверить им. Но потом он сейчас же сообразил, что ведь приговор им прочли только что, и никаких сведений князь не мог получить ниоткуда после этого.

– Как не повезут? – сказал он, снова приходя в отчаяние. – Да ведь вы слышали ясно, что лишение гражданской чести... Или вы надеетесь остановить исполнение приговора?

– Не я надеюсь остановить, – возразил князь, – он сам должен остановиться.

– Почему вы знаете это?

Князь ничего не ответил.

Они подошли в это время к перекрестку улиц и должны были остановиться, потому что поперек их дороги тянулась длинная похоронная процессия. Хоронили, вероятно, важного и богатого купца, потому что впереди шло много духовенства и певчих, а за гробом ехало множество карет и саней.

Похоронная процессия прервала движение по улице, по которой шли князь и Гурлов. Вокруг них толпа быстро стала расти. Застряли чьи-то сани, остановился извозчик, наехала наконец карета. Ей тоже дороги не было, и она принуждена была остановиться.

Гурлов точно не заметил ни процессии, ни остановки. Ему не до того было.

– Как же нас могут не повезти? – снова начал он говорить князю о своем. – Ведь приговор может быть отменен теперь

лишь в том случае, если объявятся настоящие убийцы и заявят свою вину. Ну, а где же искать их?

– Недалеко! – проговорил князь.

– Как недалеко?

– Посмотрите, – показал князь на остановившуюся возле них карету.

Гурлов поднял глаза и узнал двух гайдуков князя Гуррия Львовича Каравай-Батынского, бежавших из Вязников в день его смерти. Один из них сидел на козлах остановившейся кареты, другой был в самой карете, а рядом с ним, с закрытыми глазами, прислонясь в угол, с бледным, как полотно, лицом, полулежал недвижимый Чаковнин.

– Вот они, настоящие убийцы! – проговорил князь опять по-французски.

– Но там Чаковнин и в обмороке, должно быть, – вырвалось у Гурлова.

– Я вижу, – ответил князь. – Теперь ни слова! Прошу вас – молчите, иначе вы помешаете мне помочь ему!

– Да ведь надо же схватить убийц!

– Ни слова, говорят вам! – снова остановил его князь и удержал за руку. – Помните, что принесла уже вам ваша горячность.

Лошади у кареты были борзые и, остановленные натянутыми вожжами, затоптались на месте и грызли удила, порываясь вперед и наезжая.

– Чего смотришь, не наезжай! – окрикнул кучера один из

конвойных. – Не видишь разве?

– А что мне видеть? – огрызнулся гайдук, сидевший на козлах.

– Что видеть! Тут конвой с арестантами.

– Мы сами – конвой... сумасшедшего в больницу везем.

Этих нескольких слов для князя Михаила Андреевича было достаточно, чтобы ему стало ясно, в чем дело. В последнем разговоре с ним черный человек упомянул, что знает, где находятся настоящие убийцы Гурия Львовича. Теперь эти убийцы оба везли Чаковнина, только что сегодня выпущенного из тюрьмы, в сумасшедший дом. Кто мог им поручить это? Конечно, один только черный человек, вероятно, державший их у себя в услужении и поэтому отлично знавший, где они находятся.

– Если мне удастся обойти карету, он спасен, – тихо сказал князь Гурлову, после чего обратился к старшему конвойному: – Не обойти ли нам по ту сторону кареты, а то тут, того гляди, раздавят?

– Чего там обходить – стой! Небось не задавят, – проворчал конвойный.

Голова похоронной процессии давно миновала, и теперь, задерживая всех, тянулись поперек дороги следовавшие за дрогами экипажи.

– А и впрямь задавят, как тронутся сразу, – подтвердил другой конвойный, – либо ототрут; на той стороне посвободнее.

– Ну, марш на ту сторону! – скомандовал старший.

Они обошли карету и стали. Гурлов, веря в могущество Михаила Андреевича, ожидал, что совершится сейчас нечто вроде чуда, что, по слову князя, будут схвачены гайдуки-убийцы. Чаковнин освобожден из их рук, и не один Чаковнин, а и он сам, Гурлов, и князь тоже получают немедленно свободу.

Теперь, когда эта свобода оказалась так легкомысленно утраченной, она была особенно дорога Гурлову.

Но ничего подобного не произошло. Когда они очутились по другую сторону кареты, похоронная процессия как раз кончилась в это время, задержанная ею толпа хлынула вперед, и карета под окриками кучера «берегись» двинулась одна из первых и укатила.

– Что же это? Держи их! – завопил Гурлов. – Держи, ведь это – убийцы!

– А ты не горлань! – остановил его конвойный и дал легкого тумака. – Ты не горлань, говорят тебе!

– Что же это? – обернулся Гурлов к князю. – Вы не успели, значит?

– Нет, то, что нужно было, я успел сделать. Теперь Чаковнин вне круга зла черного человека.

– Да, но ведь вы ничего не сделали на самом деле.

– Вам это только кажется. Мне нужно было порвать тот круг зла, в который заключил его черный человек, и я успел в этом. Теперь все будет само собою.

– Надо было их остановить и схватить! – пожалел Гурлов. – Зачем вы не дали мне сделать это?

– Как же бы вы сделали это, когда сами под конвоем и нас ведут? Ведь вы сами захвачены!

Гурлову пришлось сознаться, что Михаил Андреевич говорил правду, и что, кроме пинка, он ни на что не мог бы рассчитывать, если бы даже вовремя закричал, чтобы схватили этих гайдуков.

– Так неужели пропадать нам? – произнес он, опустив голову.

– Может быть, и не пропадем. А ведь в том, что вы теперь терпите, вы сами виноваты. Вы уже сознали это.

– Знаю, что сам виноват, но все-таки тяжело. Вот вы говорите, что вам нужно было «порвать круг зла» для Чаковни-на, и верите, что помогли ему этим; отчего же вы не порвете зла, которое опутало теперь вас и меня?

– Потому, во-первых, что это не очень легко, а, во-вторых, еще не пришло время.

– Простите меня, – возразил Гурлов, – но я сомневаюсь...

– В чем?

– В том, что вы говорите. Если бы люди действительно были в силах уничтожить зло по своему произволу, то его и не было бы.

– Люди в силах, но сами не хотят этого.

– Да зачем существует это зло? – перебил Гурлов. – Зачем, наконец, люди должны вести борьбу с ним?

– Потому что в борьбе жизнь. Земля живет и движется вокруг солнца лишь потому, что в этом ее движении борются две силы: одна – которая притягивает, и другая – которая несет ее вперед; не будь первой – она помчалась бы и погибла бы в пространстве; не будь второй – она притянулась бы к солнцу и была бы сожжена им. Так во всем мире – всюду аналогия. Свет борется с тенью, и, не будь света, не было бы и тени, и наоборот. Так и добро, и зло. Добро есть свет, зло – тень его. Если бы мы не видели тени – не замечали бы и света.

XXI

Гайдук, сидевший с Чаковниным в карете, долго и внимательно приглядывался к нему, пробовал растолкать его – не очнется ли, но Чаковнин не показывал никаких признаков бодрствования.

Убедившись, что он без памяти, гайдук стал обшаривать его карманы. У Чаковнина, когда привезли его в тюрьму, были с собою деньги, но сколько именно, он не мог хорошенько вспомнить, когда его сегодня выпускали из кордегардии. Там у него их отобрали, когда привезли его, без счета, и теперь, когда приходилось возвращать, тоже не помнили, сколько. Вышло так, что вернули ему два с полтиной медью. Он знал, что у него, во всяком случае, было больше, но не протестовал. Он был рад, что и так-то выпустили его. Теперь эти два с полтиной медью были найдены гайдуком у него в кармане.

«Ну, на что сумасшедшему деньги? – стал рассуждать гайдук. – Ведь все равно пропадут они даром; так лучше я с Кузьмой выпьем за его здоровье, а то все равно пропадут».

И, достав деньги, гайдук высунулся из кареты и окликнул сидевшего на козлах:

– Кузьма, а, Кузьма!..

Тот приостановил лошадей. Они были уже на окраине города. Сумасшедший дом стоял совсем за городом, и к нему путь был не близкий.

– Слушай, Кузьма, – начал гайдук из кареты, – холодно, братец ты мой, и ежели теперь обогреться...

– Куда лучше, да не на что!

– Хватит!.. У господина в кармане два рубля с полтиной нашлись; а на что они ему, ежели он – сумасшедший?

Рассуждение было одобрено Кузьмой, и они тут же свернули к кабаку.

– То есть по одной только глотнем и дальше, глотнем и дальше...

– А господин-то?

– А что ему? Он все равно, что мертвый – не очнется, да и мы тут будем. Ведь минута одна.

Кузьма спрыгнул с козел, завязал на них вожжи и юркнул в кабак, вполне уверенный, что сейчас вернется.

Но за первым стаканчиком последовал второй – так приятно побежала водка по продрогшему телу, за вторым – третий, а там гайдуки захмелели и стали пить, забыв про карету и про лошадей, и про порученного им «сумасшедшего».

Чаковнин долго лежал в карете. Свежий воздух наконец подействовал на него и рассеял дурман. Он очнулся. Голова у него болела. Увидел он себя в карете прислоненным в угол и прикрытым шубой.

«Что за притча? – подумал он. – Как я попал в эту карету?»

Но ему было холодно. Он поспешил надеть шубу и стал припоминать, как и где заснул он или впал в беспамятство.

– Ах, забодай тебя нечистый! – вдруг произнес он вслух, вспомнив про черного человека. – Ведь этот черномазый что-то надо мной пакостит.

И почти бессознательно первым его движением было вылезти из кареты.

Когда гайдуки, пропив последний грош из двух с половиной, вспомнили наконец про порученного им «больного» и выскочили на улицу, Чаковнина давно и след простыл. Карета была пуста, и лошади так завернули дышло, что оно стало под прямым углом к кузову.

Гайдуки выскочили веселые и пошатываясь, но, увидев, что случилось без них, сразу протрезвели и остановились друг пред другом, уставившись лбами, как козлы, в недоумении.

– А все ты! – сказал Кузьма.

– Как не я! А кто лошадей остановил?

– Да я б не остановил, ежели бы не ты. Ты соблазнил.

– Соблазнил! Небось не захотел бы, так не пошел бы, а тебе удержать следовало.

– А с чего мне удерживать? Дело тебе поручили, ты и отвечай.

– Нам было вместе поручено... Все одно и ты, и я в ответе. Теперь он съест нас, беречь не станет.

– И впрямь не станет!..

– Что ж нам теперь делать?

– Одно, братец ты мой: удирать, куда глаза глядят!

– Да, я то же думаю!

Кузьма с решительностью отвязал вожжи и пустил лошадей с каретой на волю – пусть идут домой или куда знают.

– Ну, а куда ж все-таки нам идти? – обернулся он к товарищу.

– Найдем дорогу!..

И они направились в противоположную городу сторону.

Между тем Чаковнин благополучно достиг пешком домика Ипатьевой и застал там Машу, все по-прежнему сидевшую у окна.

Она не ждала теперь мужа, потому что видела собственными глазами, как его вместе с князем ввели под конвоем в ворота тюрьмы. Она, конечно, не знала, что водили их для объявления приговора, но для нее не оставалось сомнения, что мужа ее на волю не отпустили, и он теперь сидит снова в своей камере, тогда как она на свободе и разлучена с ним, благодаря этой свободе. Там, в тюрьме, они все-таки были вместе и виделись каждый вечер, благодаря князю Михаилу Андреевичу. Она могла бы примириться еще с этой ненавистной для нее теперь свободой, если бы знала, что можно было сделать в помощь заключенным. Она готова была на все, чтобы освободить их, но, как ни думала она, как ни старалась изобрести хоть какое-нибудь средство – ничего не приходило ей в голову. Да и никогда не бывала она в таких делах, не имела понятия, как приступить к ним.

Старушка Ипатьева утешала ее. Однако все ее утешения

сводились к надежде на Бога. Маша и сама знала, что ей только и оставалось, что надеяться на Него. В невиновность мужа она верила твердо и была убеждена, что Бог не допустит совершиться неправому делу.

Труворов заснул после завтрака и спал так крепко, что не предвиделось даже возможности переговорить с ним, как следует. К тому же Труворова Маша считала очень милым, добрым, душевным человеком, но житейскому опыту его не доверяла. Он, вероятно, знал не больше нее, как можно помочь и что для этого следует сделать.

Один Чаковнин казался ей способным человеком, но он пропал, как в воду канул. Маша ждала его с нетерпением. Наконец, он вернулся. Труворов тоже проснулся в это время, потому что Ипатьева заварила чай для гостей и выставила на стол шесть сортов разного варенья да смокв, пастилы, да слоеный пирог с яблоками.

Никита Игнатьевич, словно чутьем отгадав, что готова еда, проснулся, напился кваску и уселся за чай, несколько виновато поглядывая на Машу. Он чувствовал себя неловко пред нею и за то, что спал после завтрака так долго, и за то, главное, что, не разузнав, как следует, сунулся в Вязниках обвинять ее. Записка, полученная им в тюрьме, убедила его вполне, что Маша не виновата ни в чем предосудительном. И жаль ему было Машу тоже. Но жалость и неловкость не мешали ему есть и пить.

Чаковнин пришел, жалуясь на головную боль и не в ду-

хе. Внутренне он радовался, что избежал какой-то опасности (она была ясна ему), и поэтому ощущал некоторую приятность, но зол он был на себя и на людей за то, что, как думал он, из всех его сегодняшних скитаний не вышло ничего путного.

Однако, когда он начал рассказывать, оказалось, что сделал он больше, чем ожидал. Он даже очень много сделал: во-первых, он узнал, что приговор уже постановлен, во-вторых, что этот приговор и его исполнение зависели от графа Косицкого, и в-третьих, наконец, что на графа можно было повлиять через Дуньку.

Это было очень важно, хотя ни Маша, ни сам Чаковнин не предвидели еще всей важности этого.

Однако Никита Игнатьевич, услышав рассказ Чаковнина, вдруг забеспокоился, засуетился и, не отведав сладкого пирога с яблоками, поднялся и стал собираться.

– Куда вы, Никита Игнатьевич? Ведь сумерки скоро! – стала удерживать его Ипатьева.

Но Труворов хлопотливо обдергивался и повторял только: – Нет, того... ну, что там сумерки!.. Я пойду... мне того... И он ушел.

У Чаковнина голова болела. Он лег спать вместо Никиты Игнатьевича и быстро заснул, не тем больным сном, который объял его после выкуренной у доктора опьяняющей трубки, а здоровым, восстанавливающим силы и укрепляющим их. Изредка во сне он бредил, но весь его бред сводился к трем

словам, которые он произносил, угрожая кому-то:

– Забодай тебя нечистый!..

Труворов направился прямо в гостиницу и легко разыскал там Дуньку.

К Косицкому ей рано было еще идти (она отправлялась к нему по вечерам), и приход чужого человека был ей приятен, как несомненное разнообразие, внесенное в ее скучную, праздную и ленивую жизнь.

Сегодня утром Чаковнин расшевелил ее немного. Теперь явился Труворов. Дунька была не прочь поболтать с ним, тем более, что знала его за человека смирного и покладистого. К тому же и Чаковнин, и Труворов, и сам новый князь, арестованный, – все до некоторой степени зависели от нее, и от этого ей было весело.

– Ну, садитесь! Что скажете? – встретила она Никиту Игнатьевича, разыгрывая из себя благородную даму, не лишенную важности.

– Я скажу того... – начал Труворов, – у меня... какой там кафтан есть...

Такого оборота речи вовсе не ожидала Дунька. Она была уверена, что Труворов станет говорить ей что-нибудь про вязниковское дело, а он вдруг про какой-то кафтан.

– Какой кафтан? – переспросила она.

– Бархатный, – стал пояснять Никита Игнатьевич, – и весь того... ну, что там, камни разные и какое там, шитье... Дорого все там...

Он водил обеими руками по полам и показывал, какое у него было шитье на том кафтане, о котором он говорил.

Дунька помнила, что действительно у Труворова были великолепные кафтаны, доставшиеся ему от промотавшего свое состояние отца, и что покойный князь Гурий Львович даже купил у него один из них.

– Ну, так что ж, что у вас есть такой кафтан? – проговорила Дунька. – Мне-то что?

– Ну, как что? Я вам любой того...

Наконец из несвязной, отрывистой речи Никиты Игнатьевича выяснилось, что он явился предложить хотя все свои кафтаны – единственно дорогое и ценное, что осталось у него – за то, чтобы Дунька повлияла на Косицкого в смысле оправдания осужденных.

Говорил Труворов не красноречиво, но зато убедительно.

– Ну, какая там вам выгода, если их – ну, что там – в Сибирь... А тут дорогой кафтан, и он ваш... того!..

Дунька долго обдумывала, но колебалась; наконец они решились на том, что она постарается, чтобы, насколько возможно дольше, задержать исполнение приговора; о полном же оправдании, разумеется, не могло быть и речи.

Это пахло уже не кафтанам, а можно было получить ей и побольше, но если бы даже князь готов был отдать ей хоть половину своего состояния за свое освобождение – она ничего не смогла бы сделать. Настолько влияния на Косицкого у нее не было.

XXII

В свою очередь и Маша, когда ушел Труворов, не могла дольше сидеть сложа руки. Она упросила Ипатьеву, чтобы та дала ей сани с лошадьёу, и отправилась к Косицкому.

Теперь через Чаковнина, узнавшего все от Дуньки, она была осведомлена, что приговор ее мужу уже объявлен и что близится исполнение его. Ей почему-то казалось, что, раз приговор будет исполнен, уже нельзя будет ничего сделать, но пока можно еще хлопотать.

Косицкого она застала дома. Он принял ее, вспомнив, что у жены осужденного им Гурлова было очень хорошенькое личико, а он очень любил хорошенькие лица. Он велел ввести к себе посетительницу и, когда она вошла, не встал ей навстречу и не предложил сесть, оставив стоять пред собою. Сам он развалился в креслах у стола.

– Что скажете? – спросил он, оглядев Машу.

Он думал, что она станет плакать и просить, потому что ей ничего другого не оставалось делать. Он посмотрит на ее слезы, выслушает ее просьбы и скажет, что сделать ничего нельзя. Ну, в крайнем случае, утешит ее чем-нибудь.

Но Маша стояла пред ним относительно спокойная и произнесла следующее:

– Я слышала, что вы обвинили моего мужа в убийстве князя Гурия Львовича?

– Он сам сознался в этом.

– Сознание можно вынудить насильно!

– Его никто не вынуждал – это раз, а, во-вторых, все улики против него.

– Как? Улики против него? – почти крикнула Маша. – Какие могут быть улики, когда он сидел запертый в ночь убийства в подвале и никоим образом не имел возможности выйти оттуда? Ключи от его двери – особенные, секретные ключи, такие, что не подберешь других, были у самого Гурия Львовича в спальне. Он всегда приказывал на ночь относить к себе ключи от заключенных. Освободить мужа послали меня, и я должна была приказать, чтобы сломали дверь, потому что отворить ее не было возможности.

Косицкий широко открыл глаза. То, что говорила Маша, безусловно, меняло положение и действительно служило совершенным доказательством невинности Гурлова.

– И вы можете доказать, что ключи были у Гурия Львовича? – спросил он.

– Да это все знают, и Авдотья подтвердит. Я думала, что это было известно вам.

– Нет, мне никто не говорил об этом. Отчего же вы молчали до сих пор?

– Да когда же мне было говорить? – воскликнула Маша. – Ведь вы меня ни разу не спрашивали?

В самом деле, сначала в Вязниках Машу арестовали, как соучастницу, и к допросу не приводили. Потом ее держали в

тюрьме, в городе, и тоже ни о чем не спрашивали. Сама она прийти и рассказать, как сегодня, не была в состоянии, потому что сидела арестованная. Теперешнее ее заявление переворачивало теперь все дело. Это заявление являлось новым и существенным обстоятельством.

– Конечно, – произнес Косицкий, – то, что вы говорите, является совершенно новым обстоятельством, и его следовало рассмотреть.

– Ну, и рассмотрите! – проговорила Маша.

– Да как же теперь, когда уже приговор постановлен и вообще все так, казалось, правильно было и хорошо, и вдруг... вы... Ах, как это скучно! – вдруг искренне вырвалось у Косицкого.

– Но ведь вы же все-таки не оставите этого дела без пересмотра, не дадите торжествовать неправде! – заговорила Маша, подступая к графу.

Она заговорила горячо и страстно. Она говорила долго, напоминая ему и о Боге, и о милостивом правиле покойной императрице Екатерины: что лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного неповинного. Она была очень хороша, с блестящими глазами и разгоревшимися щеками, и Косицкий, глядя на нее, все-таки прежде всего видел в ней хорошенькую женщину.

«Очень мила, очень! – повторял он себе, рассматривая Машу. – Но, Боже мой, неужели же нужно опять пересматривать весь процесс?.. Нет, авось это как-нибудь уладится и

не придется снова начинать все дело!...»

Между тем во время этого разговора Маши с Косицким явилась Дунька, входившая в эти часы к графу без доклада. Увидев прежнюю свою товарку по сцене, она остановилась и недоумевающе оглядела сначала Машу, потом Косицкого.

– Что это? – спросила она с долей строгости в голосе, свидетельствующей о том, что она была уверена, что держит графа до некоторой степени в руках.

Видимо, она и в самом деле имела на это право, потому что Косицкий немного смутился при ее появлении.

– Госпожа Гурлова просит за мужа, – пояснил он, делая усилие, чтобы подавить свое смущение.

Маша сейчас же узнала Дуньку, как только та появилась. Отношения Дуньки к Косицкому ей были уже известны из сегодняшнего рассказа Чаковнина.

Маша до того была охвачена одним только желанием во что бы то ни стало освободить мужа, что в первую минуту чуть было не бросилась к Дуньке, чтобы упротить ее заступиться за неповинного. Но это движение было мимолетным. Маша спохватилась вовремя и вовремя опомнилась, рассудив, что такая просьба будет только лишним и, очевидно, не нужным унижением, которое ни к чему не приведет. Не такова была Дунька (Маша знала это), чтобы тронуться просьбой. Поэтому с ее приходом Маше ничего не оставалось, как уйти.

К тому же и Косицкий слишком явно был стеснен ее при-

сутствием.

И Маша ушла, не добившись никакого определенного ответа от графа.

Дунька молча проводила ее глазами.

– Разве по вечерам занимаются деловыми разговорами с хорошенькими женщинами? – подступила она к графу, как только Маша ушла.

– Да, право же, она просила за мужа, – повторил Косицкий.

– Верю, что просила, но пускать ее не следовало.

– Она только что освобождена сегодня из тюрьмы – раньше не могла прийти.

– Все равно не следовало. Этак ты меня живо в трубу пустишь – на все четыре стороны.

– Не пущу! Ведь ты знаешь, что ты мне одна по вкусу...

– Ну, еще бы! – подбоченясь, подхватила Дунька. – Такой другой не найдешь... Ну-ка, попробуй найти!

– Да ведь я и не обещал ей ничего, – в примирительном уже духе заговорил граф, – ведь она ушла от меня ни с чем.

– Ну, а если я просить стану вот за этого самого Гурлова? Косицкий подумал, что она шутит.

– Ну, ты – другое дело! – смеясь, ответил он.

– Ну, так вот, я и прошу за него, чтобы было ему отсрочено исполнение приговора.

– Ты это серьезно? – удивился граф.

– Совершенно серьезно.

– С какой же стати ты вдруг за него просишь?

– А ни с какой стати! Так вот вдруг вздумалось!

– Странная имагинация!

– Там, как хочешь называй, а только сделай для меня, чтобы приговор отсрочить. Ведь что-что, а протянуть лишнюю неделю всегда можно.

– Да, но для этого нужно найти причину.

– Найди!

Косицкий заложил руки за спину и стал ходить по комнате, серьезно задумавшись. Это несуразное, внезапное ходатайство Дуньки за Гурлова, которое он объяснил себе просто бабьим капризом, служило как бы указанием судьбы на то, что следует уважить по справедливости просьбу Маши, в свидетельстве которой чуялась несомненная правда. Но если это так, то ведь приходилось пересмотреть поконченное уже дело и начинать все сызнова. Этого сильно не хотелось Косицкому.

– Вот что, – заговорил он. – Известно ли тебе, что в подвале у покойного князя Гурия Львовича были в камерах и казематах какие-то особенные замки с особенными ключами, так что их никаким другим ключом отпереть не было возможности?

– Известно! – ответила Дунька.

– И ключи эти хранились в спальне у самого князя?

– Совершенно верно; они хранились у него.

– Значит, Гурлов был заперт и не мог вылезти из каземата

в ночь убийства?

– Ну, вот тебе и причина для отсрочки приговора!

– Да это – причина для оправдания даже. Но для этого нужно, чтобы ты показала под присягой про ключи и замки.

– И покажу, – начала было Дунька, но вдруг остановилась. – Приговор когда исполнять будут? Послезавтра?

– Да.

– Ну, вот послезавтра рано утром я и покажу под присягой!

– Отчего же не завтра?

– Завтра все равно праздник!..

Она была права – на другой день было воскресенье.

XXIII

Однако на самом деле Дунька назначила свое показание под присягой через день недаром, а с некоторым, не лишеным предусмотрительности расчетом. Дело было в том, что она договори́лась-таки с Труворовым относительно его кафтанов. Они порешили на том, что если Никита Игнатьевич отдаст ей два расшитые кафтана, тогда она сделает так, что приговор будет задержан в исполнении.

Она в душе рассуждала, что это, в сущности, – пустяки и ничего не изменит, и задержать, конечно, можно, если настоять у Косицкого, – не все ли ему равно? А между тем два богатых кафтана все-таки что-нибудь да значат.

Теперь сама судьба помогла ей открывшимся новым обстоятельством в деле Гурлова, и придание веры этому обстоятельству зависело от того показания, которое она даст под присягой. Она это показание и отложила на день, то есть, если ей Труворов достанет кафтаны и привезет к ней, как уговорился, то она покажет в пользу Гурлова, если же нет, то отречется от всего и скажет, что ничего не знает.

За кафтанами, которые были в Вязниках, спешно отправились Труворов и Чаковнин с тем, чтобы как можно скорее привезти их.

Они выехали из города на ямских лошадях с самого раннего утра, добрались до Вязников, уложились там и, не оста-

ваясь ночевать, торопились выехать уже на вязниковской лихой тройке.

По расчету времени ночь должна была застать их в дороге, но они об этом не беспокоились, потому что нужно было очень спешить, чтобы попасть к утру в город, так как это был последний день. Опоздай они своим приездом, и Дунька ничего не сделает для них.

В Вязниках благоразумные люди отговаривали их ехать ночью и советовали лучше заночевать дорогою, если уж они не хотят остаться в Вязниках, так как было небезопасно по ночам на дорогах.

При покойном князе Гурии Львовиче губернская полиция не смела соваться в его владения. Он сам распоряжался тут и сам держал всех в страхе, трепете и порядке. После его смерти, когда стал владеть имениями князь Михаил Андреевич, страха и трепета не было, однако, порядок не нарушался, и полиция спала по-прежнему спокойно. Она продолжала спокойно спать и после ареста Михаила Андреевича. Но в течение этого времени много дворовых из прежней челяди Гурия Львовича разбежалось, куда глаза глядят. Большая их часть застряла в окрестностях и стала заниматься открытым грабежом. Образовалась даже вполне организованная шайка, как следует, с атаманом, и она становилась с каждым днем более дерзкою и опасною. Против этой-то шайки и предостерегали Чаковнина с Труворовым, чтоб они не слишком рисковали дорогой.

Чаковнин не обратил внимания на предупреждение и, за-светло отъехав с Труворовым далеко от Вязников, продол-жал путь и после того, как стемнело.

Тройка была хорошая. Сильные лошади легко несли ши-рокие сани по мягкой снежной дороге, но ямщик жался, ви-димо, робел и был недоволен, что его заставили ехать ночью. Он все совался на облучке из стороны в сторону, поглядыва-вая из-за лошадей вперед. Луны не было на небе, но яркие зимние звезды своим голубоватым светом разряжали тьму в сумерки, и снег, казавшийся светлее неба, белел на далекое пространство.

Вдруг ямщик беспокойно задергал вожжами, сбавил хода лошадям и обернулся к седокам.

– Не повернуть ли обратно от греха? – спросил он, указы-вая кнутовищем вперед.

Чаковнин приподнялся. Впереди на дороге чернели са-ни-розвальни. Трудно было различить, стояли они на месте или двигались. Во всяком случае, если и двигались, то очень тихо.

– Чего там поворачивать! – рассердился Чаковнин. – По-шел вперед!

Ямщик снова пустил тройку и быстро нагнал передовых. Это были действительно розвальни. Они остановились по-среди дороги. Человек десять народа сидели на них.

– Приехали? – спросил Труворов, просыпаясь, потому что их сани должны были остановиться пред загородившими до-

рогу розвальнями.

– Дай дорогу! – повелительно крикнул Чаковнин. – Чего застряли?

Этот его крик послужил как бы сигналом. Люди выскочили из розвальней, окружили проезжих и, как ни отбивался Чаковнин, барахтаясь в своей шубе, которую не успел сбросить, его вышибли из саней, повалили на снег, насели на него и скрутили по рукам и ногам.

Никита Игнатьевич не был в силах сопротивляться. Не успел он опомниться, как тоже лежал связанным в санях. Туда же положили к нему и Чаковнина.

На облучок, рядом с ямщиком, сел здоровенный парень, и тройка, сопровождаемая розвальнями, шагом повернула к лесу.

Их везли по лесной прогалине, очевидно, без дороги. Несколько раз сани подкидывало на рытвинах так сильно, что Чаковнин громко выражал свою злость бессильным окриком:

– Забодай вас нечистый!

Через лес протекала речка, скованная теперь льдом и покрытая пеленой пушистого снега. У речки стояла полуразрушенная, давно заброшенная мельница, которую молва называла «местом нечистым», вследствие чего народ в суеверном страхе даже днем обходил ее. Говорили, что старый мельник, умерший лет десять тому назад, был колдун и заморозил свою мельницу.

К этой-то мельнице привезли Чаковнина с Труворовым, вытащили их из саней и внесли под крышу.

Странное было тут устройство: дырявые стены были кое-как забиты и законопачены и в одном углу обвешаны коврами; на поваленных на пол перинах спало несколько человек. Посредине тлел костер под устроенной деревянной вытяжной трубой в крыше.

Когда внесли сюда связанных пленных, люди, лежавшие на перинах, подняли головы, и один из них – черноглазый и чернобородый – недовольно хмурясь, спросил:

– Что там еще?

Зашатались и заползали по стенам тени от красного света, который бросал костер, и знакомый Чаковнину голос ответил:

– С находочкой поздравляем, Тарас Ильич! Барственную животинку удалось к рукам прибрать...

Чаковнин поглядел на говорившего и узнал в нем гайдука Кузьму, того самого, который был в дворне Гурия Львовича, а потом у черного доктора.

Чернобородый и черноглазый, которого Кузьма почтительно величал Тарасом Ильичом, нахмурился еще больше, сел, поджав по-турецки ноги, на перине и проговорил:

– Дерзки вы стали очень! А, ну-ка, – покажите мне их!

Чаковнина с Труворовым подняли, развязали им ноги, но руки оставили скрученными за спину, и заставили сесть на корточки возле костра.

– Ну, уж и силен же ты, барин! – добродушно проговорил Кузьма Чаковнину, помогая ему сесть, как следует, – кабы нас хоть одним меньше было, кажется, с тобой и не справились бы.

– Баре настоящие! – одобрил и Тарас Ильич. – Ну, а насчет поклажи как?

Тюк, который вез с собою Никита Игнатьевич, был немедленно развернут и разобран.

Самое ценное, что нашлось в нем, были два расшитых кафтана, которые нужно было завтра утром доставить Дуньке для спасения Гурлова. В этих кафтанах была единственная надежда оказать Гурлову посильную помощь.

Однако теперь не только кафтаны, но и сами Чаковнин и Труворов были в руках разбойников, и, конечно, не предвиделось никакого вероятия, что предполагаемая «благодарность» Дуньке попадет к ней. Весьма похоже было на то, что едва ли Труворов и Чаковнин вырвутся отсюда живыми. Приходилось пропадать не только Гурлову, но и им самим.

– Кафтаны знатные! – снова одобрил Тарас Ильич. – А, ну-ка, Кузьма, примерь!

Кузьма с ослабленным в глупую улыбку лицом скинул полушубок и охотно стал натягивать на себя расшитый атласный кафтан. Он просунул руки в рукава, двинул ими – кафтан затрещал и лопнул во всю длину спины. Раздался общий смех, и несколько голосов, по-видимому, очень довольных случившимся, среди хохота заявили, что «великатная»

материя не выдержала Кузькиной спины.

– Что вы делаете! – крикнул Чаковнин. – Если бы вы знали, забодай вас нечистый, что вы делаете!..

– А ты, барин, не ругайся, – слышались снова голоса, – не то мы тебя живо уgomоним.

Но Тарас Ильич окриком остановил говор и, обратясь к Чаковнину, спросил:

– А что ж такое мы делаем?

– А то, забодай вас нечистый, что кафтаны эти везли мы в город, чтобы спасти человека из тюрьмы. А вы дерете их зря.

– Знаем мы сказки-то! Слышали! – проговорили в толпе.

Чаковнин стиснул зубы и стал ворочать руками, чтобы освободить их от веревок – уж очень злость подступила ему к сердцу. Однако руки были крепко скручены за спиной, и все его усилия оставались напрасными. Он затопал ногами и процедил сквозь зубы:

– Анафемы!..

– Ну, кафтаны кафтанами, – сказал Тарас Ильич, – а на счет денег как?

Чаковнина с Труворовым мигом охватило несколько рук, обыскивая. Карманы их были выворочены и камзолы растегнуты, но многого не нашлось у них: у Чаковнина были серебряные часы луковицей да два червонца, а у Труворова – три серебряные рубля.

– Ну, что там деньги! – заговорил Никита Игнатьевич, молчавший до сих пор и покорно и тихо сидевший. – Ну, ка-

кие там деньги!.. Кто же с собой деньги того... возит? Кабы вы того... так большие деньги бы получили.

– Ты, барин, загадок не загинай, а говори прямо: какие-такие деньги? – строго сказал ему Тарас Ильич.

– Ну, что там говорить! – запел Труворов снова. – Какой там говорить? Руки того... неспособно! – и он сделал неловкое движение руками.

Он так скромно вел себя до сих пор, что казался совсем безопасен. Очевидно, благодаря этой скромности, Тарас отдал приказание:

– Развязать!

Труворову освободили руки.

Но, когда подошли для того же самого к Чаковнину, он снова затопал ногами и громко закричал:

– Не трогай! Развяжете руки – убью первого попавшегося из вас... Так и знайте!

От него отступили, а освобожденный до некоторой степени Никита Игнатьевич начал говорить.

Речь Труворова была довольно-таки бессвязна, но с некоторым усилием можно было понять, что он старается объяснить, что в тюрьме сидят невинно обвиненные в убийстве князя Гурия Львовича: князь Михаил Андреевич и молодой человек Гурлов. Никита Игнатьевич предлагал кому-нибудь из разбойников пойти и повиниться в этом убийстве, и тогда неправильно обвиненных отпустят, а князь Михаил Андреевич выдаст за это сто тысяч рублей всему вольному

товариществу. Сначала цифра «сто тысяч рублей» произвела некоторое действие, но когда большинство сообразило, в чем именно заключалось предложение Никиты Игнатьевича, то вдруг раздался неудержимый хохот.

– А и веселый ты шутник, барин, право, веселый! Ишь ты, не робеет: самому ему животишко беречь надо – а он на, поди: «Ступай, – говорит, – для моего удовольствия в тюрьму добровольно!»

– Ну, что там... добровольно, – обиделся Труворов за то, что его высмеяли, – ведь все равно там будете все, а тут один...

– Ну, это еще бабушка надвое сказала, будем ли!

– Будете! – уверенно произнес Труворов.

Чаковнин, когда заговорил Никита Игнатьевич, вдруг притих и стал соображать. Ему показалась мысль его товарища по несчастью вовсе не такой уж нелепой, чтобы не поддерживать ее.

Он вспомнил, что пред арестом их в Вязниках Гурлов только что вернулся из объезда по вотчинам князя и привез с собою деньги. Они должны лежать спрятанными в Вязниках, и на них рассчитывать было весьма возможно. Оружие, значит, было в руках у них. Оставалось только умеючи пустить его в дело.

Разумеется, продолжать разговор так, как начал его Труворов, было неудобно, но отчего в самом деле не попытаться счастья и не прибегнуть к более разумным убеждениям?

– Слушайте, – начал Чаковнин на этот раз спокойно, – давайте говорить рассудительно! Ничего такого смешного в том, что предложили вам, нет... Сто тысяч! Да ведь такой уймы денег никогда не захватить вам. С тех пор, как вы на дороги выезжать стали, никто таких денег не повезет с собой без сильной охраны. В усадьбах только винными бочками в подвалах да коврами, да перинами поживиться можете... А денег таких никогда не набрать вам... Ну, а тут будут выданы вам всем вольная и сто тысяч в раздел. Каждый из вас купцом станет – делай, что хочешь!.. А что для этого нужно? Чтоб один из вас повинился... Ну, он пойдет, повинится, посадят его, да ведь со ста-та тысячами освободить его пустяки будет. Сами знаете – смазать только, так и из тюрьмы через два дня дадут ему возможность убежать... И будет он на свободе, да и вы все вольными станете, денежными – не чета теперешней жизни.

Чаковнин говорил и следил главным образом за выражением лица Тараса, за тем, какое действие производят на него высказываемые соображения?

Тарас сидел, задумавшись; остальные разбойники слушали молча. Они были, по всей вероятности, поражены неожиданным, нелепым, с их точки зрения, предложением. Оно было так необыкновенно, что никто из них не мог найтись, чтобы ответить сразу. Но «сто тысяч» звучали приятно для них...

Вдруг один старый, с жиденькой седой бородашкой раз-

бойник встал и заговорил, когда Чаковнин приостановился:

– Ежели князь так богат, что может отдать нам сто тысяч, то отчего же сам он не откупается из тюрьмы и для чего нужно, чтобы другой откупался за него?

Очевидно, это было первое, что могли возразить разбойники. Но у Чаковнина был уже готов ответ на это:

– Неужели вы не понимаете, что князю откупаться от тюрьмы неловко? Если бежать ему, так, значит, нужно жить потом по чужому паспорту и лишиться и княжества, и богатства своего.

– Ну, а как же мы получим эти сто тысяч-то? – спросил Тарас.

– А в этом условиться надо, – проговорил Чаковнин. – Может быть, так сделаем, что вот вы отпустите Никиту Игнатьевича Труворова, а меня в заложниках оставите. Он и привезет часть денег в задаток... Ну, а потом столкнемся!

– А если он вместо денег приведет на нас рейтарскую роту, чтобы забрать нас, тогда что? – снова спросил старик.

Чаковнин не задумался и на это ответил:

– Какая же выгода ему приводить солдат и забирать вас, когда князь Михаил Андреевич в тюрьме останется? Нам нужно его освободить, а не вас забирать; гуляйте себе на здоровье.

Такие быстрые, прямые и определенные ответы Чаковнина, видимо, окончательно взбесили старика: он вдруг задержался, замахал руками и заговорил, обращаясь к Тарасу:

– Ты, Тарас Ильич, не верь им, не верь, потому надуют, а верь мне. Я – птица стреляная: два раза в Сибири побывал, два раза бежал оттуда, видал виды на своем веку. Знаю, все знаю... И вот тебе мой совет: есть среди нас много новеньких, есть и бывалые люди, да не связаны еще. Помни: не крепка та кучка, что кровью не связана. Надо связать ее, тогда можно на всех надеяться, а для этого, вместо того чтобы тары-бары разводить, велика нам господ прикончить. Послушайся старика! Такой кровью всех нас свяжешь, и все мы в руках друг у друга будем.

Старик, видимо, пользовался влиянием. При его словах послышалось в толпе гудение.

– Ну, будет! – решительно произнес Тарас Ильич. – Утро вечера мудренее!.. Отведите господ в чулан на ночь, а там завтра посмотрим.

Чаковнина с Труворовым отвели в темный чулан и заперли. Искра некоторой надежды загорелась в них.

XXIV

Наступил день исполнения приговора.

Гурлов знал этот день и ждал, и боялся его.

Дрожь пробирала его, и холодный пот выступал на лбу, когда он представлял себе, как повезут его на позорной колеснице через город с черною доскою на груди, как взведут на эшафот и будут ломать шпагу над головою. Ужасно это было!

Князь Михаил Андреевич приходил к нему, по обыкновению, вечером; эти таинственные свидания, устрояемые сверхъестественным могуществом князя, его таинственной силою, были единственным утешением для Гурлова. С тех пор, как выпустили Машу, которую прежде приводил Михаил Андреевич, Гурлову единственным утешением оставалась беседа князя, когда он вспоминал о жене, мысли у него путались, и он не мог разобрать хорошенько, благо ли было то, что ее выпустили.

Конечно, она теперь была на свободе, это много значило, но вместе с тем они теперь были разлучены, а им и в тюрьме было лучше вместе, чем порознь на свободе.

Князь Михаил Андреевич вчера вечером утешал Гурлова, и пока тот слушал его, спокойствие как будто ласкало его; но, когда князь ушел и Гурлов перестал слышать его тихую, западавшую в душу речь, снова вся тревога надвинулась на

него, воображение рисовало ужас позора на эшафоте, и силы оставляли несчастного Гурлова, он терял голову и, словно сумасшедший, начинал метаться из стороны в сторону.

Он не помнил последовательно, как провел ночь. Она прошла для него как будто неожиданно скоро и вместе с тем длилась мучительно долго.

Ночь длилась, но утро наступило внезапно, тогда именно, когда Гурлов думал, что до него далеко.

И когда наступило это утро, вдруг всякая надежда оставила Сергея Александровича. Ему почему-то казалось, что даже просто глупо надеяться на то, что приговор будет не исполнен. Почему? По каким причинам могло случиться это? Даже чудо было невозможно, потому что трудно было придумать комбинацию для этого чуда.

Единственный сильный человек, способный помочь Гурлову, был князь Михаил Андреевич, но он сам сидел взаперти и сам ждал исполнения того же приговора. Чаковнин, Труворов, Маша были на свободе, но что могли они сделать?

И чем больше думал Гурлов, тем настойчивее убеждался, что нет ему спасения и нет выхода.

Он сидел на своей койке с опущенною на руки головою и прислушивался к малейшему шуму – не идут ли уже за ним, чтобы везти на эшафот. Теперь все помыслы его были сосредоточены на одном – скоро ли? И он ждал с минуты на минуту.

Наконец в коридоре слышались шаги; они приблизи-

лись к его двери, замок щелкнул...

«Вот оно! – безнадежно мелькнуло у Гурлова. – Пришли – теперь все кончено!..»

Он закрыл глаза, чтобы не видеть вошедшего, но сейчас же открыл их.

Пред ним стоял черный тюремный доктор.

«Доктор, зачем тут доктор? – подумал Гурлов. – Доктор, кажется, присутствует только при смертной казни?»

Черный доктор смотрел на него и улыбался.

– Ну, господин Гурлов, – проговорил он, – я пришел сказать вам по секрету, что вас сегодня выпустят из тюрьмы.

– То есть как выпустят? – переспросил Гурлов.

Ему показалось, что этот человек издевается над ним.

– Так, – ответил доктор, – выпустят на свободу. В вашем деле произошли серьезные изменения, открылись несомненные доказательства вашей невиновности, несмотря на ваше собственное сознание.

Это известие было столь радостно, что трудно было поверить ему сразу; но вместе с тем и не поверить не было возможности, так хотелось, чтобы оно было правдой.

– Как же это? Почему? – спросил Гурлов.

– Почему и как – узнаете потом, только помните, что я первый пришел вам сообщить это известие. Может быть, мне понадобится со временем ваша услуга.

Гурлов почувствовал, что голова у него идет кругом.

– Так вы не шутите? Это – правда? – снова переспросил

он.

– Сушная правда. И повторяю вам: когда будете на свободе – не забудьте моей услуги.

– Ну, а князь Михаил Андреевич?

– Для него дело тоже приняло хороший оборот – приговор задержан; но его еще не выпустят. Он должен остаться пока в тюрьме, до выяснения некоторых подробностей.

Вслед за тем черный доктор стал участливо разговаривать с Гурловым, ободряя и утешая его, и, между прочим, сказал, что если Гурлову некуда будет деться после выхода из тюрьмы, то он, доктор, просит его к себе, и указал подробно, где и как можно было найти его.

Он не солгал – Гурлов был освобожден в тот же день.

XXV

Поздняя обедня давно отошла.

В сумерках большого собора горели свечи только у левой стороны иконостаса, пред чудотворной иконой, освещая ее богатую золотую, усыпанную камнями ризу. Все кругом тонуло в полумраке; было прохладно, и свежесырой воздух пах осевшим дымом ладана.

Сторож, в темном углу, у свечей, присев на скамейку и прислонясь к стене, позевывал и покашливал в руку, равнодушно посматривая на тени немногих молящихся, зашедших в собор в этот час.

У входной двери стояла монашенка в шлыке, с высоко подоткнутой рясой, в мужских сапогах.

Молящихся было очень мало. Старушка опустила на колени у стенки, подымала глаза, медленно крестилась и усердно шевелила губами, читая молитву. Изредка, как отголосок, покашливания сторожа, старушка громко вздыхала и кланялась в землю. С другой стороны церкви молился очень юный паренек, часто и быстро крестясь и так же быстро кланяясь.

Пред образом, где горели свечи, стояла на коленях Маша с крепко стиснутыми руками и с сухим взглядом широко открытых красивых глаз, неподвижно уставленных на икону. Она не двигалась, не поворачивалась. Губы ее не шевелились, но вся она отдалась молитвенному порыву. Молилась

она о земном, о житейском, о прерванном своем счастье, но точно была далеко от земли, далеко унесена своею молитвою и не чувствовала, и не осознавала, что делается вокруг нее. Ей оставалось только молиться. В молитве только было для нее утешение и была надежда на возврат этого прерванного счастья.

Ничего не могла Маша сделать; она могла лишь пойти к Косицкому и указать ему на несомненное доказательство, что ее муж ни в чем не виноват. Она сделала это, но видела, что правда была принята с неохотой и вовсе не так, как следовало. Она попыталась пойти еще раз – ее не пустили. Но, что бы ни делали люди, она чувствовала, что Божья правда должна восторжествовать и что твердая вера ее не останется без ответа. Она верила и молилась, и не было в душе сомнения, что случится именно то, о чем молилась она. И чудилось ей, что она будет услышана скоро и скоро увидит возле себя мужа свободным.

Это было как будто невозможно. Но для Маши казалось теперь, что нет ничего невозможного и что по вере своей человеку действительно дано двигать горами и заставлять реки течь от русла к истоку.

Она потеряла сознание времени и не заботилась о том, долго ли она стояла тут, охваченная сладким порывом молитвы. И вот, наконец, когда ее мысли совсем прояснились и она, полная любовью к любимому человеку, сосредоточилась на одном желании добра ему и через него – добра всем

людям, она нашла определенные молитвенные слова и стала мысленно произносить их, постепенно, сама того не замечая, начав повторять их вслед за мыслью тихим, чуть внятным шепотом; сначала как будто не она, а кто-то другой шептал возле нее, потом она узнала свой голос, увидела золотую ризу образа, с которого не спускала глаз, самоцветные камни на ней, вышитую пелену под образом с галунным крестом посередине, каменные плиты пола, серебряный подсвечник и свет, лившийся от него сверху.

Она сделала земной поклон, потом еще и с некоторым испугом заметила, что не может уже в эту минуту отделиться от окружающего и найти снова только что испытанное ею забвение действительности.

Она испугалась, потому что подумала, что рано вернулась в эту действительность и что надо молиться еще и еще. Она рада была молиться всю жизнь и была уверена, что так и будет это, но теперь жизнь звала ее к себе, и в этой жизни ждала ее та радость, о которой она просила.

Маша оглянулась: рядом с нею стоял муж такой, каким она видела его в последнее время.

Первым чувством при виде его у Маши был трепетный страх – появление мужа показалось ей слишком чудесным. Но этот страх был не подавляющий, не гнет ужаса, а только смятение, благоговейное, робкое и покорное. Сердце ее забилось радостью – все равно, был ли это сам ее Сережа, или явился некий дух, принявший его формы, – степень счастья,

с которым она увидела его, не могла измениться от этого, по крайней мере, в первую минуту.

Но это был не дух, не призрак и не видение, а сам он, ее муж, любимый и милый. Это Маша поняла сразу по тому взгляду, которым он встретил ее взгляд, и по той улыбке, которая ждала от нее такой же ответной.

Маша поднялась с колен; муж помог ей, и она, пришедшая сюда к образу одинокая и беспомощная, встала, опираясь на его руку, бодрая, сильная и счастливая.

Гурлов был только что выпущен из тюрьмы и, выйдя из своего заключения, не зная еще, как он разыщет жену, зашел в собор и нашел ее тут. Теперь опять они были вместе.

XXVI

Когда Чаковнина с Труворовым заперли в чулан, Никита Игнатьевич живо примостился на лежавшей тут соломе и, закутавшись в шубу, которую разбойники оставили ему, заснул. Чаковнин сгреб пришедшуюся на его долю часть соломы (руки ему развязали) и уселся, охватив колени и глядя перед собой в темноту. Он слышал говор и пересмешки располагавшихся на покой разбойников, слышал, как мало-помалу затих этот говор и сменился богатырским, громоподобным храпом. Чаковнин сидел и ни о чем не думал.

Настоящее положение не то что не страшило его, а как-то лень ему было вдаваться в подробности: думай не думай – а все равно будет, что будет. В душе он злился на то, зачем, собственно, попал он во всю эту переделку: сидел в тюрьме, теперь сидит в холодном чулане, а завтра – забодай их нечистый – и не известно, что будет! В данном случае «они», то есть те, которых должен был забодать нечистый, были неизвестным собирательным, из-за которого якобы Чаковнин попал в переделку.

Спать он не мог, но дремота одолевала его. Он несколько раз клевал носом, опять приходил в себя, сознавал, что заперт, что рядом с ним нежно посвистывает носом спящий Никита Игнатьевич, и оставался всем очень недоволен.

Ему показалось, что он долго перемогался так, как вдруг у

двери послышалось движение: отодвинули засов, дверь слегка скрипнула, и в чулан осторожно просунулось огромное туловище человека.

– Что надо? – начал было Чаковнин.

– Шшш... – остановил его голос из темноты, – не замай, барин!.. Я к тебе не с дурным пришел.

– Да кто ты? – переспросил Чаковнин.

– Тарас, – быстро ответили ему, – Тарас, что всеми своими молодцами управляет. Нам долго разговаривать нельзя, ну, так слушай, барин! Помнишь мужичонку, что у заставы стоял, а ты ему позволил арестовать себя и к покойному князю отвести? Ты его этим от батожья избавил... Ну, так вот, мужичонко этот – отец мой! Скучно мне стало, как привезли тебя сегодня сюда. Думаю: «Неужели мне ему – тебе то есть, – придется за добро злом платить?» Как ни держу я своих молодцов в руках, а все-таки спасти мне тебя от них хитрость предстояла большая... Только ты с товарищем говорить стал хорошо. Так это умно насчет ста тыщ загнул, что лучше не надо. Ну, так вот я и пришел спросить тебя: правду ли ты говорил об этих тыщах или так только, чтобы время выиграть и зубы заговорить?

– Ежели дал я дворянское слово, – ответил Чаковнин, – то, значит, все, что сказал, – правда; в нашем теперь деле зубы заговаривать – только себе портить... Я это понимаю.

– Дельно рассуждаешь, барин. А все-таки дай ты мне еще раз дворянское свое слово, что сто тыщ предоставишь нам,

если вина принята будет одним из нас.

– Даю еще раз слово, – повторил Чаковнин.

– Хорошо. Дело выходит хитрое и трудное, ну, да как-нибудь обмозгуем его!.. Потому, видишь, сам понимаю, что долго гулять нам не придется – все одно переловят, а с деньгами – ты правду сказал-каждый из нас выправиться может. Это – штука чистая, и никогда нам таких денег не набрать... Ну, так слушай: заключаем мы с тобой договор крепче смерти – что доставишь ты, куда укажу, деньги в срок. По рукам, что ли?

– По рукам! – проговорил Чаковнин, протягивая наугад в темноту свою руку.

Ее нашли и пожали ему.

– Ну, значит, так тому и быть, – снова заговорил Тарас. – На заре, чуть свет, мы поднимемся – начнется тут спор; смотри, если выведут нас, не вмешивайся и товарищу своему закажи, и не ругайся, главное.

– Не буду, забодай вас нечистый! – процедил сквозь зубы Чаковнин.

– Ну, утро вечера мудренее, посмотрим, что будет. Прощай, барин!..

И снова скрипнула дверь, снова стукнул засов, и все умолкло, кроме всхрапывания, резко врывавшегося в тишину. Чаковнин опять заклевал носом.

XXVII

Крепкий утренний сон обуял-таки Чаковнина пред рассветом, но ненадолго. Проснулся он от неудобного скрюченного положения, в котором полусидел на соломе, и от сырого холода, пробравшегося сквозь его шубу и теплые сапоги.

В маленькое оконце чулана брезжил свет. На дворе за стеною слышались голоса. Громче других раздавался голос старика, хваставшего вчера тем, что он побывал в Сибири и бежал оттуда. По-видимому, он распоряжался.

Чаковнин заглянул в оконце. На дворе суетились несколько человек. Суетились они у перекладки, оставшейся от бывших тут когда-то весов. Они продергивали длинную веревку в кольцо перекладки и разговаривали. Больше всех хлопотал старик. Он объяснял и показывал, как нужно было все сделать. Чаковнин отвернулся. Ясно было, что веревку готовили для него с товарищем.

А Никита Игнатьевич, свернувшись на соломе в комочек, спал беззаботным сном.

Чаковнин стал будить его. Труворов приоткрыл глаза, почавкал губами и невнятно произнес:

– Счас, счас, счас...

– Вставайте, Никита Игнатьевич, – проговорил Чаковнин, – кажется, плохо приходится.

– Ну, что там вставать, ну, какой там? – отмахнулся тот

и, улегшись удобнее, снова задышал ровным сонным дыханием.

– Говорят вам, вставайте! – снова затряс его Чаковнин. – Может, мы сейчас с вами заснем навсегда – забодай их нечистый! Там они что-то пакостят.

Труворов поднялся. Чаковнин хотел, чтобы он заглянул в оконце. Это оказалось невозможно – Никита Игнатьевич не мог дотянуться, так как слишком мал был ростом.

– Да какой там? Что? – спросил он, напрасно подымаясь на цыпочки и вытягивая шею.

– Веревку нам с петлей готовят, вот что!

Труворов, казалось, очень обиделся на эти слова.

Он надул губы и направился к двери чулана, гордо запахнув шубу, как будто не желал больше разговаривать с Чаковниным. Дверь оказалась незапертою и легко отворилась от толчка Никиты Игнатьевича. Чаковнин последовал за ним. Они миновали сени и вышли на крыльцо. Никто не удержал их.

– Ишь, показались, голубчики! – встретил их старик, распорядившийся устройством виселицы. – Добро пожаловать, господа! Сейчас все будет готово для вашей милости!

Чаковнин с Труворовым сделали вид, что не обратили внимания на такое приветствие и отошли в сторонку.

Утренний воздух был свеж. В нем чувствовалась оттепель. В первую минуту показалось, что на дворе было теплее, чем в чулане. Солнечные лучи чуть пробивались сквозь деревья.

– Все лучше, абы кто встал возле них – неравно убегут! – показал старик своим на Чаковнина с Труворовым.

– Куда убежать? – отозвались ему. – Ведь мы тут. С глаз не сойдут.

Никита Игнатьевич на воздухе очнулся от сна. Способность понимания вернулась к нему.

Чаковнин потихоньку передал ему свой ночной разговор с Тарасом. Он предложил, в случае, если дело повернется в их пользу, чтобы Труворов ехал за деньгами, а он, Чаковнин, останется здесь заложником. Никита Игнатьевич поморщил лоб и замотал голову:

– Ну, что там вы заложником? Какой я там поеду! Мне того... беспокойно. Я здесь спать буду.

С крыльца, почесываясь и покрываясь, появлялись разбойники и с усмешкой поглядывали на возню у старых весов.

Там уже чинно из кольца спускалась веревка с петлей, а другой ее длинный конец был спущен на землю и лежал ровно выпрямленным по ней.

– Как его проденем в петлю, – объяснял старик, – так всем до одного братья за конец и рвануть сразу, по команде, чтобы все в участниках были.

В это время на крыльце появился Тарас. На нем были бархатная шуба и высокая бобровая шапка. Говор стих при его появлении. Тарас, лениво шурясь, огляделся кругом, потом посмотрел на прилаженную под перекладной веревку и спросил:

– Для гостей, что ли, приготовили?

– Так дедко велел! – пояснили ему стоявшие ближе.

Заметно было, как Тарас вспыхнул и, чтобы скрыть свою вспышку, сдвинул брови. Глаза его расширились, и взгляд стал повелительно строгим.

Он сделал широкий, плавный взмах рукою, как бы приглашая присутствовавших подойти поближе. Толпа сгущилась вокруг крыльца.

Тарас снял шапку, поклонился на три стороны и начал говорить.

Ровным, внятным голосом говорил он о том, что пока на их совести нет прямого душегубства, что, если и случалось что, так это было с вооруженными людьми, которые защищались против них, и грех случался в борьбе, но беззащитных они не забивали. Между тем лихое житье долго продолжаться не может. Он, Тарас, слыхал в городе, что в скором времени вышлют на них солдат. Солдаты переловят их и отведут в острог. Против военной силы им не устоять. Надо поэтому крепко подумать о деньгах, которые предлагали им вчера, и о том, что эти деньги могут вывести их на иную дорогу.

Мало-помалу, пока говорил он, в задних рядах начался ропот, становившийся все громче и громче. Наконец, он перешел в гул, покрывший голос Тараса. В этом гуле чаще и чаще слышался оклик:

– Дедко, староста, говори!..

Передние расступились пред стоявшим в середине стари-

ком из Сибири, а задние подталкивали его вперед, чтобы он отвечал на речь Тараса.

Тот приостановился и ждал, по виду спокойный.

– А слышал ли ты, – выступил, наконец, старик, – как нам эти деньги сулят? Чтобы один пошел да повинился в остроге, а там его в кандалах сгноят, потому насчет освобождения – это разговор один, вилами на воде писано. Коли ты – атаман, так ни одного не только за сто тысяч, а за сто раз сто тысяч продавать не могли. Ты нами распоряжайся, когда дело есть, а выдавать себя твоему приказу не согласны! Если тебя выбрали мы – так служи нам, и за то мы тебя слушаться обязаны. В крепостные же мы не шли к тебе. Деньги получай, как знаешь, а в острог никто из нас не пойдет. Так ли я говорю? – обратился старик к толпе за одобрением.

– Так... так!.. – сдержанно, но твердо послышалось кругом.

– Говорят тебе, – подступил снова старик к Тарасу, становясь смелее, – свяжи кучку кровью, а без того не будет силы в ней. И вот тебе последний сказ наш: приказывай господ на петле вздернуть, либо без твоего приказа вздернем.

Тарас, тяжело дыша, со сжатыми кулаками и со стиснутыми зубами в упор смотрел на старика, и видно было, что теперь дело идет не только о данном случае, но между ними сводятся прежние, постоянные их счеты и решается борьба за главенство в шайке. На этот раз старик, боровшийся до сих пор с Тарасом тайно, чтобы занять его место, выступил

открыто против него, рассчитывая на подготовленный успех.

– Молчишь? – крикнул он. – Трусишь? Ну, так и без тебя справимся... Эй, ребята, вяжи господ!

Он, повелевая уже толпой, двинулся вперед, но Тарас шагнул со ступеней крыльца, схватил старика за ворот и крепко встряхнул его.

– Бунтовать?.. Не слушаться?.. Я те свяжу кучку кровью, душегубец проклятый!.. Мало ты на своем веку людей загубил? Еще не терпится? Вязать его! – крикнул Тарас, покрывая своим голосом снова поднявшийся гул.

Теперь все зависело от того, найдется ли хоть один, который послушается голоса Тараса, или сторонники старика бросятся, чтобы вырвать его на свободу. Однако эти сторонники держались в задних рядах и не успели протиснуться, как один из послушных скрутил старика.

Тарас опять вошел на крыльцо и снова заговорил:

– Ежели я рассчитал, что для пользы нашей, чтобы получить деньги, нужно идти в острог и виниться, так никому из вас делать это не придется. На такое опасное дело, всеконечно, пойду я сам. На то и избран я вами атаманом, чтобы не жалеть мне себя для вас, и я не пожалею...

Толпа сначала замерла при этих словах. Затем послышался одобрителный шепот. Тарас понял, что нравственная сила власти его восстановлена.

Понял это и лежавший на земле старик. Как последнее усилие для того, чтобы сорвать проигрываемую ставку, он

попытался крикнуть:

– Не атаман ты нам! Мы сменили тебя!

– Сменили? – тихо, с расстановкой повторил Тарас. – Угомон не берет тебя! Так я же зажму рот... В петлю его! – командовал он. – Еремка, Семен, Борода-лопата! Тащи его в петлю!..

Он выкрикнул имена наименее надежных для себя, заведомо прежде преданных старику, – и вдруг и Семен, и Еремка, и Борода-лопата, пропущенные вперед, подошли к старику, взяли его, подтащили к перекладине и всунули голову его в петлю.

– Вздергивай! – приказал Тарас.

Казалось, что все это делалось лишь для примера, точно никто не воображал, что старик будет на самом деле повешен, как будто происходила только невинная игра и любопытно было, что из нее выйдет?

Но, по слову Тараса, Борода-лопата рванул веревку, и связанный старик высоко вздернулся над землей. Он судорожно дрогнул несколько раз телом и повис неподвижно с завалившейся на сторону головою. Борода-лопата привязал к столбу конец веревки, чтобы тело не рухнуло на землю.

Наступила минута жуткой тишины. Большинство лиц побелело. Толпа тихо отодвинулась в сторону от виселицы, где медленно покачивался удушенный.

XXVIII

Гайдуки Кузьма и Иван, помогавшие Созонту Яковлеви-чу, бывшему секретарю князя Гурия Львовича, в убийстве последнего, были тут же, среди разбойников, к которым они бежали от черного доктора после того, как от них ускользнул Чаковнин, порученный им, чтобы отвезти его в сумасшед-ший дом.

Кузьма с Иваном были в толпе и видели неожиданную казнь старика. Кузьма знал, что этот старик загубил много душ на своем веку и что Тарас был прав, называя его душе-губцем, следовательно, и казнь была ему поделом. Вместе с тем при виде качавшегося в петле тела Кузьма вспомнил, как он видел так же вот повесившегося Созонта Яковлевича, добровольно нашедшего смерть свою как бы тоже в наказа-ние за причиненное им в своей жизни зло людям. Вспомнил он и свои грехи, и ту страшную ночь, когда он и Иван, под руководством Созонта Яковлевича, жгли тело князя на лам-повом масле.

В глубине души Кузьма с самой этой ночи не мог уже най-ти покой, и, как ни старался забытья, скрытое воспомина-ние глухо волновало и мучило его. Ему всегда казалось, что где бы он ни был и что бы ни делал, не миновать ему Божьей кары, как не миновал ее Созонт Яковлевич. И вот теперь ста-рик тоже получил возмездие по делам своим.

А между тем Кузьма знал, что за его злодеяние схвачен человек, который томится в тюрьме. Теперь это как-то особенно ясно представилось в его сознании и особенно смутило его. Выходило так, что для того, чтобы освободить неповинного человека, не причастный к делу Тарас хотел выдать себя и тем спасти их всех, а в том числе и его, виноватого Кузьму.

Кузьму охватил порыв хорошего, искреннего чувства, и вдруг ему стало легко на душе и весело. Он, не раздумывая дольше, что делать ему, выступил вперед и повалился Тарасу в ноги.

– Я убил князя Гурия Львовича, – заговорил он, – мне и ответ держать за него. Коли надо идти и виниться, так я и пойду и повинюся во всем, всю правду расскажу, а там будь, что будет – от кары Господней все равно не уйдешь... Так лучше уж я добровольно объявлю грех мой... Отпустите вы меня в город и получайте с господ тысячи, а там, коли освободите меня – хорошо, а нет – так тому и быть должно, значит! – и он поднялся с колен и с открытым, веселым, просветленным лицом глядел на Тараса.

Но не один Кузьма стал весел и радостен. Если бы он мог в эту минуту внимательно посмотреть на окружавших его, то увидел бы, что и они как будто просветлели и, благодаря его поступку, отдохнули душой от предшествовавшей тяжелой сцены.

Рядом с Кузьмой появился Иван с трясущейся челюстью

и с навернувшимися на глаза слезами.

– Что ж, – заговорил он, всхлипнув, – и я – тоже человек... Коли Кузьма так действует, так и мне скрываться незачем. Душа и во мне есть... Я с ним вместе князя убивал, вместе и ответ держать желаю... Посылайте и меня что ли в город. Я тоже виниться пойду.

– Так тому и быть! – коротко заключил Тарас и тут же, пока не остыл порыв раскаявшихся, стал отдавать свои приказания.

Решено было, что с гайдуками поедет в город Чаковнин, а Никита Игнатьевич останется до тех пор, пока Чаковнин не привезет деньги. На этом настоял сам Труворов, продолжая утверждать, что ему здесь будет гораздо спокойнее и что он отлично выспится в это время, а хлопотать и ездить ему вообще не хочется.

Запрягли тройку в сани. Кузьма и Иван поместились на облучке, Чаковнин уселся, закутавшись в свою шубу, простился с Труворовым и на пожелание провожавшего его Тараса: «Счастливо оставаться, барин!» – ответил:

– До свидания!..

Тройка шагом пробиралась в лесу между деревьями, сделала большой круг по реке и далеко от мельницы выбралась на проезжую дорогу, ведущую в город.

Чаковнину пред отъездом, чтобы согреть его, Тарас дал сбитню с водкой, и он чувствовал, что его голова несколько тяжела. Мелькнула было у него мысль: «А что, ежели гайду-

ки вдруг передумают и затеют удрать с дороги?» Но он успокоился на том, что в случае нужды справится с ними обоими, благодаря своей силе.

Выехав на дорогу, сани покатались по гладко наезженному пути, ухабы перестали встряхивать Чаковнина, и он почувствовал, что его охватывает теплый, сладкий сон, бывший очевидным последствием выпитого сбитня с водкой и ночи, почти сплошь бессонной. Через несколько времени Чаковнин крепко спал в санях.

Кузьма с Иваном сидели на облучке молча; первый правил лошадьми. Ни слова не проронили они друг другу с тех пор, как выехали, но оба думали об одном и том же: о том, что предстояло им сделать.

Под свежим впечатлением своего благородного порыва они, несомненно, могли сейчас же покаяться и пойти без робости навстречу какому угодно испытанию. Но этот порыв прошел, и, хотя оба они выехали с твердым намерением поступить, как обещали, теперь, по мере приближения к городу, после сравнительно большого переезда, в течение которого прилив добродетельных чувств успел сильно охладеть в них, сомнение начало невольно закрадываться.

Шутка ли сказать, пойти и повиниться в убийстве и добровольно променять свободу на кандалы!

В особенности Ивану представлялся непривлекательным острог. Слышал он про него много ужасного, и вот этот ужасный острог с каждым шагом подвигавшихся крупной рысью

лошадей становился все ближе и ближе. Иван понимал, что возврата быть не может, что должны они довершить начатое, ибо и деваться им некуда, но все-таки изредка, помимо его воли, мелькала у него мысль: а не удрать ли, не соскочить ли с облучка? Но он продолжал сидеть смиренно и только, когда уже стало невмоготу, сказал Кузьме:

– Чего гонишь-то? Поспеем и так!

Кузьма ничего не ответил и только не без злобы тряхнул вожжами, отчего лошади прибавили ходу.

«Да убежать и нельзя, – соображал Иван, – все равно барин не пустит. Вон он сидит – смотрит, верно. Тоже силищи-то у него на нас двоих хватит!»

Иван в первый раз в течение всей дороги оглянулся на Чаковнина и, оглянувшись, увидел, что тот спит.

– А ведь барин-то спит, – сказал Иван Кузьме так весело, как будто обрадовался чему-нибудь.

Кузьма сидел нахмурившись и сначала точно не обратил внимания на слова Ивана, потом придержал лошадей, чтобы дать вздохнуть им и тоже оглянулся, после чего проговорил:

– Ну, и пускай его спит!

Опять водворилось долгое молчание. Ехали без бубенцов и колокольчиков. Лошади пофыркивали. Кузьма снова пустил их.

Вдали показался город. До него оставалось еще порядочно, но Ивану чудилось уже, что они приехали, что наступила минута, когда заберут его и посадят. Да, там, в этом чернев-

шем впереди и дымившем городе его должны были забрать и посадить.

«Ежели барин все еще спит, – загадал он, – так, может, и хорошо будет!..»

Он вполоборота, углом глаза, посмотрел опять на Чаковнина; тот по-прежнему спал.

– Что ж, прямо к острогу, что ли, поедем?

Кузьма повел спиною и мотнул шеей.

Иван чувствовал, что и в душу товарища тоже забралось сомнение, что, в сущности, и ему жутко приближение города, только сказать об этом он не хочет.

– Чего в острог? – вдруг произнес Кузьма. – Неужто ж барин напоследки и не угостит нас? Пусть поднесет для храбрости!

– Спит он, барин-то!.. – заметил Иван.

Теперь он уже не сомневался, что утренняя храбрость оставила и Кузьму.

Они въехали в пригород. Потянулись заборы и огороды, промелькнул постоялый двор, показалось здание сумасшедшего дома.

Иван с Кузьмой переглянулись. Их обоих поразило сопоставление, то вот везли они сюда того же барина, что и теперь, а теперь он везет их в острог. Они ничего не сказали, но оба поняли, что каждому пришло в голову то же самое.

– А ведь это – кажись, тот самый кабак! – проговорил на этот раз Кузьма, когда они проехали мимо домика с елкой

на высоком шесте.

– Какой тот самый?

– А у которого мы его выпустили...

Он не ошибся. Это был действительно тот самый кабак, где они заболтались, забыв о Чаковнине, порученном им доктором.

– А и впрямь тот, – подтвердил Иван. – А что, братец ты мой, ежели нашего сонного отвезти опять к дохтуру? Тот ведь может принять нас обратно и сохранить от острога-то.

Он проговорил это так, будто это никого ни к чему не обязывало, а просто казалось остроумным.

Кузьма опять в ответ дернул лишь шейей.

Но вскоре Иван заметил, что Кузьма направляется к острогу по той дороге, где стоял дом черного доктора. Когда они поравнялись с этим домом, ворота у него, как на грех, оказались отворенными.

XXIX

Князь Михаил Андреевич, когда вечером солдат вошел в его комнату и он усыпил его (теперь солдат засыпал по одному взгляду), направился, по обыкновению, к Гурлову и нашел его помещение пустым. Он вернулся к себе, заставил усыпленного солдата отвечать на вопросы, и тот рассказал ему, что Гурлова сегодня выпустили на волю. Он разбудил солдата и дал ему уйти.

Теперь Михаил Андреевич остался один в заключении. Он вздохнул несколько свободнее: хорошие люди, случайно связавшие свою судьбу с его судьбою и пострадавшие вследствие этого, были освобождены теперь. Князь мог с более легким сердцем ждать своего освобождения, которое (он знал это наверно) должно было рано или поздно наступить. Одиночества и скуки, которые предстояло пережить ему до этого освобождения, он несколько не боялся.

Он владел слишком большими знаниями, чтобы бояться скуки, а что касалось одиночества, то оно могло только способствовать развитию этих знаний.

Князь Михаил Андреевич хранил целые тома в памяти своей, и стоило ему сделать известное усилие, он припомнил все написанное в них, как будто вновь перечитывал страницу за страницей. Самые сложные выкладки мог он делать без чертежей, наизусть, совершенно так же, как иные шах-

матисты могут играть, не смотря на доску.

Он имел власть внушать людям свою волю, усыплять их или просто приказывать им не только делать что-нибудь, но и видеть все, что ни пожелает он, причем так, как будто это происходило в действительности пред их глазами. Он мог читать в блеске астрального света и прошлое, и будущее каждого человека. Ему были открыты тайны природы, и силы ее были подчинены ему.

И чем дольше работал он над собою, тем более и более совершенствовался в своих познаниях, помня, что, какие бы ни приходилось переживать ему испытания, он должен был не выдавать известных ему тайн и не употреблять своих познаний ни на личную пользу свою, ни во вред другим, но только на добро им.

Сегодня князь чувствовал себя особенно бодрым и сильным. Он давно знал, что это чувство бодрости и силы овладевает им тогда, когда от него потребуется какая-нибудь особенно напряженная деятельность. Однако вся обстановка свидетельствовала о том, что он должен пребывать в полном покое. Что мог он сделать, запертый в маленькой камере, один, вдали от людей?

Князь Михаил Андреевич не сомневался, что, если бы ему нужно было выйти из своего заключения, – ему было бы это очень легко сделать. Он мог днем пройти незамеченным, как в шапке-невидимке, мимо всех сторожей, часовых и встречаемых, внушив только им, чтобы они не видели его.

Такое исчезновение показалось бы чудесным, но для этого чуда нужно было иметь ключ от замка. Теперь дверь была заперта на всю ночь, потому что солдат должен был вернуться только утром, и князь Михаил Андреевич знал, что люди развитием воли и победой духа над телом могут достигнуть того, что освобожденный от тела дух их будет иметь самостоятельную, сознательную деятельность.

И вдруг он ощутил в себе необычайную легкость и свободу, точно оставил стеснявшие его до сих пор формы физического тела. Комната с ее койкой, столом и тусклым фонарем осталась далеко. Несся вихрь с кружащимися ледяными снежинками; внизу качались, шумели и бились оголенные, покрытые инеем ветви деревьев, но они быстро исчезли и тоже остались далеко. Вихрь шумел и несся в полумраке, пронизанном неясными, смутными отблесками. Но вот отблески начали делаться яснее, собираться в одну массу и вдруг слились в огромное пространство светлого, рябившего своим светом, но не ослеплявшего круга, с исходящими от него вниз лучами, с целым снопом лучей, терявшихся и таявших в глубокой тьме внизу. Семь правильных шестиконечных звезд блистали в виде серпа в круге.

Князь Михаил Андреевич знал, что такое был этот круг распознал также звезды, блестевшие в нем, и остановился. Слиться с этим светом – значило погибнуть.

Князь начал тихо и плавно спускаться вместе с исходящими от круга лучами, опустил и увидел облака, покры-

вавшие землю, потом самое землю и город на ней. Это был тот город, в котором сидел он, заключенный. Ему захотелось увидеть близких ему людей, и он сейчас же увидел Гурлова, спящего безмятежным сном, Чаковнина и Труворова. Никита Игнатьевич был в плену у разбойников, а Чаковнин неподвижно лежал в сильном наркозе у черного доктора. Оба они – и Труворов, и Чаковнин – были лишены свободы; один только Гурлов мог пользоваться ею. Надо было, чтобы он помог им освободиться.

«Довольно на первый раз!» – как бы сказал себе Михаил Андреевич.

В тот же миг он увидел лежащее на койке свое тело, ощутил теплоту его, был охвачен ею и сделал над собою усилие. От этого усилия его глаза открылись, и он увидел снова свою камеру со столом, фонарем и койкой, на которой он спал.

Очнувшись, он понял, что получил одну из высших способностей – общаться на расстоянии, причем это расстояние не существовало для него теперь.

XXX

Гурлов проснулся рано. Но, как бы рано ни проснулся он – Маша всегда просыпалась раньше его и была уже одета. Так случилось и на этот раз. Она успела уже умыться, убраться и побывать в комнате у приютившей их старушки Ипатьевой, поднимавшейся всегда летом с зарею, а зимой – задолго до зари.

– Проснулся? – окликнула Маша мужа, видя, что он лежит с открытыми глазами.

– Странный сон я видел сегодня, – проговорил Гурлов, видимо, еще всецело находившийся под впечатлением своего сна, – очень странный!.. И так ясно, точно это было наяву.

– Ты сегодня разговаривал ночью, – заметила Маша, – я только не могла разобрать, что! Верно, вчера много поел на ночь с голодухи, вот и мерещилось.

– Не мерещилось, а видел я, как наяву, князя Михаила Андреевича. И будто он мне все объяснить что-то хочет и показывает куда-то. А потом вижу Труворова – лежит он в снегу и окружен волками; только это – не волки, а собаки.

– Собаки – это друзья, – вставила Маша.

– Да, но они же и волки вместе. И чувствую я, что надо мне освободить Никиту Игнатьевича, что меня точно кто толкает на это. А лес кругом шумит, и так я вижу ясно это место в лесу. И вдруг это – уже не лес, а дорога, длинная-длинная,

и на ней Чаковнин. «Меня венчать скоро будут», – говорит он мне.

– Нехорошо. Это к смертельной опасности – и дорога, и венец, – сказала Маша. – Уж не случилось ли что с ним? Ведь они должны были непременно вчера вернуться из Вязников – вчера утром, и их до сих пор нет. Твой сон нехорош. А больше ничего не видел?

– Нет, видел! Опять Михаил Андреевич явился и говорит: «Ступай к черному доктору!» А дальше все спуталось, и ничего не помню больше.

Маша покачала опять головою, вздохнула, поохала, но как ни было ей жалко Чаковнина с Труворовым, если бы случилось с ними что-нибудь, и как ни беспокоило ее их промедление, она слишком еще была поглощена радостью, что вернулся к ней муж, чтобы особенно остро почувствовать жалость к посторонним людям и беспокойство за них. Она была молода, любима и так измучилась разлукою с мужем, что теперь, когда он был возле нее, она невольно, с детскою радостью, вся отдалась своему счастью. И трудно было упрекать ее за эту радость.

Но Гурлов поднялся с постели очень серьезен и, как только успел встать, умыться и одеться, взялся за шапку.

– Куда ты? – спросила его Маша.

– К черному доктору.

Руки опустились у Маши. Неужели эта история не кончилась еще? Теперь, когда муж был снова с нею, она твердо

решила ни за что не позволять ему впутываться в дело, составившее его несчастье, и уехать как можно скорее из этого города, уехать навсегда, все равно куда – лишь бы быть подальше от опасности. И вдруг теперь, едва выпущенный на свободу, он хочет опять идти к этому страшному черному доктору, опять что-то затевает и опять не выйдет добра из этого. Она инстинктивно чувствовала, что мужу грозит еще что-то, если он не будет сидеть смиренно. И что за вздор – идти чуть свет только потому, что приснилось что-то! Ведь сны и обманывают часто.

– Нет, как хочешь, я тебя не пущу никуда! – проговорила Маша, схватив его шею руками. – Милый, родной, голубчик, не ходи!.. Чувствую я, что случится с тобой недоброе. Выпустили тебя – ну, и останься со мною, останься хоть сегодня. Может, сегодня Труворов и Чаковнин подъедут, ну, а там завтра посмотрим...

– Не могу! Я чувствую, что должен идти.

– И вовсе не должен! Ведь отсидел уж в тюрьме, словно в чужом пиру похмелье. Разве не довольно тебе? Впутали тебя в это дело, наконец выпустили, так уж и держись ты теперь в стороне.

Сергей Александрович прижал жену к себе и стал успокаивать ее, как ребенка:

– Полно, Маша! Не будь этого дела, и мы с тобой вместе не были бы. Ты сама мне вчера рассказывала, что Чаковнин и Труворов поехали в Вязники ради моего же освобождения;

так нельзя и мне оставлять их.

– Пстой, – сообразила Маша. – Если они поехали ради твоего освобождения, а тебя освободили вчера – значит, они успели все сделать и никакой опасности для них нет.

– Я не знаю, почему меня освободили и как убедились в моей невиновности, но, право, не вижу ничего дурного в том, что пойду к черному доктору. Ведь он вчера пришел в тюрьму ко мне, чтобы предупредить о том, что меня выпустят, и повторил несколько раз, чтобы я помнил, что он первый предупредил меня. Может быть, я просто узнаю от него, кому я обязан своей свободой.

Маша задумалась и, наконец, решила:

– Во всяком случае, пойдем вместе!

На это Гурлов согласился.

Черный доктор принял Гурлова с женою очень любезно.

– Ранние птицы! – встретил он их. – Впрочем, меня только и можно застать в это время, и вы отлично сделали, что пришли теперь, если хотели застать меня.

– Да, мы хотели застать вас, – подтвердил Гурлов, чувствуя уже некоторую неловкость, потому что нельзя же было объяснить их визит виденным сновидением и тем, что Михаил Андреевич послал его сюда в этом сновидении.

– Чем могу служить? – спросил доктор.

Гурлов замялся. Ему теперь самому казалось, что, может быть, он напрасно поторопился прийти: в самом деле, мало ли что может присниться!

– Я пришел, собственно... – начал он. – То есть, мы вот пришли поблагодарить вас за вчерашнюю вашу любезность относительно меня, что вы ко мне пришли в тюрьму, чтобы сообщить о том, что меня выпустят.

Доктор ответил, что он очень рад вообще.

– Может быть, я могу узнать у вас и причину моего освобождения? – спросил Гурлов. – Если вы знали заранее о нем, то, вероятно, вам известна и причина? Мне было бы интересно узнать ее.

– Вы освобождены, благодаря, во-первых, вашей жене, которая объяснила графу Косицкому, что вы были заперты в ночь убийства в подвале и что ключи находились у самого князя Гурия Львовича, а, во-вторых, – бывшей крепостной актрисе князя Авдотье, которая под присягой подтвердила показание вашей супруги. Вот все, что я знаю. А теперь советую я вам уехать как можно скорее и подальше от греха. Чего вам на самом деле впутываться? Попались вы в это дело, ну, отсидели, пострадали, теперь вы вновь вместе с женою... Уезжайте поскорее и наслаждайтесь счастьем, которое вы заслужили.

– А князь Михаил Андреевич? – спросил Гурлов.

– Что ж князь? Дело его кончено.

– Но ведь он ни в чем не виноват!

– Кабы не был виноват – его не обвинили бы.

– А меня? Меня же обвинили. Так и князь страдает безвинно. Я не могу уехать, пока его не освободят.

– Мой вам совет – все-таки уезжайте.

– Нет, я не могу его оставить так! – продолжал настаивать Гурлов.

– Ну, хорошо, вы останетесь здесь! – обратился к нему черный доктор. – Но чем же вы можете помочь?

– Этого я не знаю пока... Чем смогу... Вот теперь надо разыскать Чаковнина и Труворова, а потом подумаем все втроем вместе.

– А, так вы решились отыскать Чаковнина и Труворова? – серьезно переспросил доктор.

– Да, они поехали в Вязники, должны были вернуться вчера, и до сих пор их нет.

По-видимому, это не понравилось доктору.

– Вы любите бриллианты? – вдруг спросил он у Гурлова, резко меняя разговор. – Хотите, я вам покажу один замечательный? – Он выдвинул ящик в своем бюро и вынул черный четырехугольник темного агата со вставленным крупным бриллиантом посередине. – Вот подойдите к окну, сюда: тут на солнце игра камня виднее будет.

Солнце светило в окно, и при его лучах блеск бриллианта был еще ослепительней. Гурлов никогда не видал такого. Он держал пред глазами агат с блестящим камнем, пошевеливал им и смотрел очень пристально.

Он и не подозревал, что доктор просто-напросто ставил ему ловушку. Это был обыкновенный механический способ для гипноза.

Доктор оставил Гурлова любоваться бриллиантом на черном агате, а сам подошел к Маше. Он о Гурлове уже не беспокоился, зная, что тот очень быстро упадет в забытие. С Машей же он, зная ее впечатлительность, думал справиться своей силой. Он сосредоточил всю свою волю на желании, чтобы она заснула по его приказу, и приказал ей заснуть, но Маша смотрела на него ясными, светлыми глазами, вовсе не подчиняясь его влиянию.

«Не может быть! – удивился доктор. – Откуда у нее явилась обратная, задерживающая сила?»

Он не знал и не мог знать, что князь Михаил Андреевич с невероятным трудом передал эту силу Маше, когда она вдруг увидела в гипнозе черного доктора, и передал именно для того, чтобы защитить ее от него.

Доктор сделал новое усилие, но оно оказалось опять совершенно бесплодным. Он захотел настоять на своем во что бы то ни стало, собрал все свои силы и направил их соответственно со своим желанием, но сейчас же почувствовал, что это напрасно.

Это окончательно взбесило черного доктора. Он не захотел оказаться настолько несостоятельным, чтобы признаться, что не может повлиять на такую слабую, как думал он, натуру, как Маша.

Однако он сам не знал, какого напряжения стоят ему его усилия. Это напряжение было слишком велико, так что вдруг он почувствовал, что словно оборвалось в нем что-то,

что силы оставляют его. Они разбились о преграду, и доктор ослабел до полной потери этих сил.

Все это длилось не более минуты.

Маша видела, как к ней подошел черный доктор, как он вытянул руки по направлению к ней, как задрожали они у него, как затем судорожно затряслось лицо. Он сделал шаг в сторону, пошатнулся, схватился рукою за стул и в изнеможении опустился на него.

Маша кинулась к нему. Доктор был бледен и казался в обмороке. Руки беспомощно опустились у него, и голова свесилась на сторону.

Она позвала мужа. Тот сидел у окна тоже без движения, с открытыми, уставленными на бриллиант в агате глазами. Маша с ужасом увидела, что и муж ее был в бесчувственном состоянии.

Ее охватил ужас: что ей было делать одной? Главное, она не могла понять, что случилось, и не могла придумать, как тут помочь и кого звать на помощь.

В ту минуту, когда она инстинктивно бросилась к двери, чтобы позвать слуг, из этой двери показался князь Михаил Андреевич, которого она сейчас же узнала. Он бесшумно прошел мимо нее, приблизился к Гурлову, положил ему руку на голову и исчез, словно растаял в воздухе. Все это Маша видела своими глазами и успела заметить, что освещенная солнечными лучами фигура князя была лишена тени.

Гурлов вздрогнул и поднялся со своего места.

– Что с тобою? – в свою очередь, спросила она. – Ты сидел сейчас, точно в обмороке.

– Что с тобою? – переспросила она. – Ты сидел сейчас, точно в обмороке.

– Не знаю! Я не чувствовал ничего особенного... Тебе, верно, показалось. А доктор? Вот с ним что-то делается! – и тут только заметив доктора на стуле, Сергей Александрович подошел к нему, тронул его за плечо и проговорил: – Да ведь он в обмороке!

– Уйдем отсюда, уйдем! – стала упрашивать Маша. – Недаром чуяла я недоброе... Я сейчас видела князя Михаила Андреевича... Тут делается что-то страшное... Я боюсь... Уйдем отсюда!

– Да как же уйдем? – возразил Гурлов. – Нужно же помочь ему.

Он призвал слуг, послал одного из них за врачом, стал прыскать водою в лицо доктора, тер ему руки, но напрасно – доктор не приходил в себя. Его отнесли в спальню, раздели и уложили в постель.

Когда явился врач, Гурлов решил уехать и увезти жену, полумертвую от страха.

XXXI

Вернувшись домой, Маша долго не могла прийти в себя. Наконец, ее отпоили и отогрели. Она расплакалась и почувствовала себя хорошо.

Между тем все время, пока Гурлов ухаживал за женою, его неотвязно и неотступно преследовала одна мысль: «Нужно ехать!» Он чувствовал, что помощь его нужна и что ему следует сейчас же отправиться в Вязники, чтобы узнать, что случилось с Чаковниным и Труворовым.

Когда Маша оправилась, он осторожно сказал ей, что хочет сейчас же ехать в Вязники. Она снова заволновалась, снова не хотела отпускать его, но он твердо стоял на своем.

Как ни любил он жену, ему казалось непростительным малодушием сдаться на ее просьбы и остаться бездеятельным в то время, когда именно нужна была его деятельность. Его решение ехать было так твердо, что никакие просьбы жены не могли остановить его.

Маша, видя, что муж стоит на своем, опять было собралась вместе с ним, но Сергей Александрович объяснил ей, насколько ее присутствие может стеснить его в поездке. Один он мог отправиться верхом, что вдвое скорее, и обернуться очень быстро из Вязников назад в город. Вдвоем они должны были бы ехать в санях, а с часа на час следовало ожидать оттепели и распутицы, способной задержать сани в

дороге.

Делать было нечего – Маше пришлось покориться. Она отпустила мужа, просила его беречься и предупреждала его, что, если он опоздает, она умрет от волнения. Наконец, когда уже оседланная лошадь стояла на дворе и Гурлов, одетый, прощался, Маша в последний раз притянула его к себе и проговорила:

– Не уезжай!

– Не могу! – ответил Гурлов.

Он вышел на улицу, вскочил на лошадь и с места крупной рысью поехал, не оглядываясь.

Сначала Сергей Александрович долго погонял лошадь, не обращая внимания на встречных, не сознавая, холодно ему или тепло, и не соображая сил лошади. Лишь отъехав далеко от города, он заметил, что его конь начинает уставать – он слишком скоро ехал все время. Пришлось дать пройти лошади шагом. Дорога в этом месте огибала лес, и Гурлов вспомнил, что летом здесь, в лесу, есть тропа, по которой обыкновенно направляются верховые и пешеходы для сокращения пути. Эта окольная тропа представляла значительную выгоду в расстоянии. Гурлов решил разыскать ее, думая, что это будет вовсе не затруднительно. И действительно, вскоре он заметил от дороги след, направлявшийся к лесу. Он смело повернул по этому следу, быстро подъехал к опушке и очутился среди опущенных снегом ветвей.

Сначала было просторно, прогалина казалась широкою,

но мало-помалу она начала суживаться, и вскоре Сергей Александрович заметил, что едет уже вовсе без дороги. Лошадь лениво повиновалась ему и только делала вид, что старается, но на самом деле задерживала ход и не слушалась.

Боясь заблудиться, Гурлов повернул назад. Он хотел выехать из леса по своему следу, но через некоторое время потерял его. Дело становилось плохо. Теперь можно было плутать без конца, если стараться действовать по собственному соображению.

Гурлов знал, что в таких случаях лучше всего положиться на лошадь, и отпустил ей поводья. Лошадь повела мордой, потянула носом и, словно поняв то, что от нее было нужно, повернула в сторону и пошла уверенным шагом. Ветки заслоняли дорогу и больно хлестали Гурлова, но он мало заболтался об этом. Ему важно было как можно скорее, чтобы не терять времени, выехать к какому-нибудь жилью.

Жилье вскоре показалось: это была полуразвалившаяся мельница, стоявшая у реки среди леса. Из трубы мельницы шел дым.

Сергей Александрович никогда не был здесь (он знал это наверное), но место, даже расположение деревьев показалось ему знакомым, точно он где-то, как во сне, уже видел все это однажды.

«Странно!» – подумал он, подъезжая к мельнице.

Но еще более странной показалась ему встреча, оказанная здесь. Вдруг, неизвестно откуда, словно из-под земли вы-

росло, выскочило пять человек, двое схватили лошадь под уздцы, а остальные накинулись на Гурлова и стащили его на землю.

Дальше пошли события совершенно неожиданные. Гурлова ввели на мельницу, освещенную только разложенным костром, и здесь, в толпе людей, он увидел Никиту Игнатьевича Труворова, спокойно расхаживавшего в шубе нараспашку. Да, это был, несомненно, Труворов. Он сейчас же узнал Гурлова и протянул к нему руки:

– Ну, что там... того... здравствуйте... Вы от Чаковнина?

– Как от Чаковнина? – переспросил Гурлов, едва приходя в себя и все еще сомневаясь, не грезит ли он.

– Ну, да, там, от Чаковнина... – повторил Труворов, – вы его... какой там... видели?

– Чаковнина в городе нет, – сказал Гурлов.

– Ну, что там нет! – обиделся Никита Игнатьевич. – Тарас Ильич, слышите?..

Чернобородый Тарас подошел к Гурлову.

– Как, господина Чаковнина в городе нет? – спросил он. – Быть этого не может!

Сергей Александрович только пожал плечами.

Когда он, наконец, столкнулся, понял, в чем дело, узнал, куда он попал и где теперь находится, и почему тут Никита Игнатьевич, то он не пожалел, что, вопреки настояниям Маши, отправился в дорогу. Если бы Чаковнин приехал в город благополучно, то должен был бы явиться к Ипатьевой, где

стоял Гурлов с Машей. Так и Труворов говорил. Если ж он не явился, то, значит, с ним случилось что-нибудь, но что именно – этого никто не мог знать. Было очевидно, что гайдуки не могли порешить с ним. Во-первых, им было не справиться с Чаковниным, а, во-вторых, не в таком они уехали расположении, чтобы такое дело взбрело им на ум.

– Нет, этого быть не может! – рассуждал Тарас, качая головой.

Он, Труворов и Гурлов сидели у костра, и все трое взволнованно обсуждали случившееся.

– Как же, – продолжал Тарас, – люди сами захотели повиниться в своей вине... и вдруг, чтобы сделали такое – да быть этого не может!..

– Да что это за люди? – спросил Гурлов.

– Да те самые, что убили князя Гурия Львовича!..

– Гайдуки Кузьма и Иван! – проговорил Гурлов, вспомнив, что про них, как про убийц, говорил князь Михаил Андреевич, когда они встретили их в карете, задержанные похоронной процессией.

– Они самые! – подтвердил Тарас.

– Так ведь я сегодня видел Кузьму у черного доктора, – вспомнил Гурлов, – сам видел, как тот переносил доктора в обмороке в спальню. Кузьма наверно у черного доктора.

– Ну, значит, нам надо сейчас ехать в город, – сказал Тарас, – время терять нечего... Где этот доктор живет? Везите меня прямо к нему, я с ним сам управлюсь.

– Надо бы подумать сначала, – возразил было Гурлов, – можно ли ехать?

– Нет, – перебил Тарас, – я уж управлюсь с ними: мне только бы узнать, где они, а там я поговорю с ними! Едем, барин!

Тарас приказал оседлать двух лошадей и быстро стал одеваться.

Одевшись, он преобразился в обыкновенного дворового человека, готовый сопровождать Гурлова, по-видимому, в качестве его слуги.

– Нет, так поступать не показано! – все еще сердился он, вскакивая на седло. – Назвался груздем – полезай в кузов! Погодите, голубчики!.. Узнаете меня!

И он поехал вперед, показывая дорогу.

Тарас и Сергей Александрович сравнительно быстро выбрались на опушку, а оттуда на дорогу, и еще засветло, задолго до заката солнца, были в городе.

Гурлов не утерпел, чтобы не заехать к Маше, не показаться ей. Он забежал к ней на минутку, сказал, что все идет хорошо, что бояться нечего, но никаких подробностей не рассказывал.

Ему показалось, что он был дома так недолго, что даже не мог успеть рассказать эти подробности, но когда он вышел, то не мог не заметить, что промедлил достаточно. По крайней мере, Тарас успел уже отвести лошадей на конюшню, а сам – исчезнуть.

Гурлов звал его, кричал на весь двор – Тарас не появлял-

ся. Наконец болтавшийся на дворе кучер Ипатьевой объяснил, что дворовый человек, приехавший с Гурловым, ушел, как только свел лошадей в конюшню. Ушел он за ворота.

Гурлов ничего понять не мог. Но раз он был, так сказать, на ходу, он все-таки решил отправиться к черному доктору и, в крайнем случае, обратиться к полиции, чтобы она арестовала гайдуков и допыталась у них, куда девали они Чаковнина.

«А что, если Тарас пошел да предупредил их? Может быть, у них это заранее все сговорено было!» – подумал вдруг он и вспомнил, что Тарас дорогой очень обстоятельно расспрашивал его, где живет черный доктор, и он подробно объяснил ему.

Так или иначе, но в данную минуту Тараса не было, и Гурлов сообразил, что во всяком случае ему нужно как можно скорее идти к доктору. Теперь и действия самого доктора казались несколько подозрительными. В самом деле, почему гайдуки из разбойничьего стана очутились внезапно в числе его слуг? Это обстоятельство требовало объяснений.

В квартире черного доктора Сергей Александрович нашел целый съезд. Тут был чиновник от губернатора, сам граф Косицкий, его секретарь и несколько городских врачей. Случай был исключительный. Черный доктор лежал на постели по-прежнему без признаков жизни. Все принятые врачами меры оказались бесплодными. Врачи уже объявили, что исчерпали свои познания, сделали все, что могли, даже несколь-

ко раз пытались пустить кровь и теперь отказываются делать что-либо дальше. Но констатировать смерть они не могли. Черный доктор, по их мнению, был жив, только стоило привести его в чувство, но добиться этого они не были в состоянии.

Гурлов вошел в первую приемную комнату доктора и застал там графа, разговаривавшего с чиновником от губернатора. Косицкий встретил его очень дружелюбно.

– Я рад, – сказал он, – что ваша невиновность в деле князя доказана. Вы можете судить о моем расположении к вам по тому, как скоро я велел выпустить вас.

Сергею Александровичу оставалось только благодарить, что он и сделал вполне искренне.

– Скажите, – продолжал Косицкий, – ведь вы были здесь, когда с ним, – он кивнул в сторону спальни доктора, – случилось это? Ведь это было на ваших глазах?

Гурлов ответил, что он сегодня рано утром пришел к доктору, чтобы поблагодарить его за внимание. Тот принял его, по-видимому, совершенно здоровый и бодрый, а потом вдруг внезапно упал на стул и лишился чувств.

– Ему теперь лучше? – заключил вопросом свой рассказ Гурлов.

– Какое лучше! До сих пор не приходил в себя, и врачи не знают, что делать. Они отказались...

Сергей Александрович задумался. Беседы, которые он вел, в особенности во время своего заключения в тюрьме, с

князем Михаилом Андреевичем, научили его уже многому. Он знал теперь о существовании духовной деятельности человека, о силе и о возможной помощи этой деятельности и верил в них. Городские врачи могли только помочь недужному телу, а черного же доктора, очевидно, не тело страдало, а недуг касался духа его.

– Знаете, граф, – сказал Косицкому Гурлов, подумав, – есть один человек, который, я уверен, способен помочь доктору.

– Вот как? – удивился Косицкий. – Кто же этот человек?

– Князь Михаил Андреевич Каравай-Батынский. Велите привести его из тюрьмы, и я ручаюсь, что он заставит очнуться доктора.

– Этого не может быть! – проговорил Косицкий, разведя руками.

В это время подошел секретарь Косицкого, слышавший предложение Гурлова, и обратился к графу:

– Я должен засвидетельствовать вам, ваше сиятельство, что князь Михаил Андреевич, про которого упомянул господин Гурлов, обладает действительно некоторою силой исцеления или, по крайней мере, такими познаниями, которые выше сведений обыкновенных врачей. Дело в том, что со мною лично был случай, вполне доказавший это. Нынче зимою, явившись однажды, по обыкновению, с утра к вашему сиятельству, я вдруг почувствовал совершенно беспричинную боль в правой руке. Боль была настолько сильна,

что я ждал только, когда вы встанете, чтобы отпроситься домой, так как полагал, что буду не в состоянии взяться за перо для занятий. В приемной комнате, смежной с вашим кабинетом, ожидал приведенный для допроса князь Михаил Каравай-Батынский. Должно быть, лицо у меня было очень страдальческое, потому что он обратился ко мне с вопросом: что со мною? Я ему объяснил. Он улыбнулся и сказал, что не стоит обращать внимания на такие пустяки, которые могут пройти от одного прикосновения. И – поверите ли? – он только три раза притронулся к моей руке и потом велел взять перо и написать ту фразу, которая напишется. Пусть сама рука пишет, что знает. Когда я взял перо, боль усилилась, но, уже выведя первую букву, я почувствовал облегчение. Я написал, сам не зная почему, стих Овидия: «*Omnia vincit amor, et nos cedeamus amori*».¹ И боль миновала совершенно бесследно. Я рассказываю вашему сиятельству то, что сам испытал.

– Отчего же вы раньше мне не рассказали этого?

– Не случилось, не пришлось к слову.

– А вообще кому-нибудь вы рассказывали этот случай?

– Положительно могу уверить, что никому. Он мне казался более чем странным, и как-то конфузно было рассказывать. Ведь князь все-таки содержится под стражей.

– Вот именно, – подхватил граф. – Поэтому вы и должны были доложить мне этот случай. Удивительное совпадение! –

¹ Все побеждает любовь, и мы уступаем любви (*лат.*).

вдруг добавил он, широко открывая глаза. – Посмотрите! – и Косицкий показал на зеркало, висевшее в простенке.

На этом зеркале, как раз на том месте, где виднелось отражение графа, было нацарапано, очевидно, алмазом: «*Omnia vincit amor, et nos cedemus amori!*»

– Удивительное совпадение! – повторил Косицкий. – Впрочем, этот стих достаточно известен, чтобы и вы могли написать его, и доктор или кто-нибудь другой нацарапал его на зеркале. Я – враг всего сверхъестественного и не верю в чудеса, но знаю, что в наше время есть люди, которые производят невероятные вещи – граф Сен-Жермен, Калиостро. Я был в Петербурге, когда Калиостро приезжал туда. Только я не верю и считаю его шарлатаном.

– Да, может быть, и этот князь – шарлатан, – сказал чиновник от губернатора, – но если он ухитрится помочь, то не все ли равно как, шарлатанством или иначе? лишь бы помог!

– Я ничего не имею против пробы, – согласился Косицкий. – Что ж, пусть его приведут сюда.

– Так я распоряжусь, – сказал чиновник от губернатора.

– Нет, лучше я сам съезжу и привезу его сюда. Это будет скорее, – предложил секретарь. – Ваше сиятельство, дайте только ордер.

Косицкий дал ордер, и секретарь уехал за князем Михаилом Андреевичем.

XXXII

С самого утра, с тех пор как случилось с доктором неладное, Кузьма и Иван почувствовали, что им не по себе. Они, не сговариваясь, ходили и держались вместе, не упуская друг друга из виду. Не то, чтобы они вдруг ощутили взаимное недоверие, а просто вместе им было как будто легче.

Каждый человек, кем бы ни был он, непременно применяет все, что случается вокруг него, главным образом к самому себе. Так и Кузьма, и Иван невольно посмотрели на событие с доктором прежде всего с точки зрения того, насколько оно могло касаться их самих. Они знали, что привезенный ими Чаковнин где-то был спрятан вчера доктором, и могли ожидать теперь, что, если доктор не очнется, Чаковнина найдут и станут спрашивать, откуда он попал сюда? В таком случае, несомненно, их заберут, и не уйти им от судьбы своей, как не ушел от нее повешенный старик.

С утра еще была надежда, что доктор оправится. Но теперь на кухне стало известно, что почти нет уже этой надежды.

Кузьма ходил особенно угрюмый, не спускавший его с глаз Иван видел, как он отправился в каморку, где они помещались, и принялся там одеваться по дорожному – в тулуп, который он крепко подпоясал кушаком.

– Куда собираешься? – спросил его Иван.

– Пока никуда. А всяко может случиться: ишь, господ чиновных понаехало: им бровью шевельнуть – и нет нас с тобой на свете Божьем.

– Конечно, всяко случиться может, – согласился Иван и тоже стал одеваться.

– Куда собрались? – остановила их черная кухарка, встретившаяся им на дворе.

– На всякий случай оделись, – ответил Кузьма, – неравно пошлют куда – вишь, суматоха какая в доме.

Они вышли за ворота.

– Ты куда же идти теперь хочешь? – спросил Иван шепотом.

– Куда идти? Некуда нам идти. Даже и на кабак-то денег нет. Надо обождать, может, и так обомнется. Я вот тут на скамейку пока сяду да повременю; скучно мне, Иван.

– Я тоже сяду! – сказал Иван и уселся рядом на прилаженную у калитки скамейку.

Место было выбрано недурное – отсюда можно было убежать в любое время.

Да и сидеть тут было не скучно: мысли развлекались хоть и небольшим, но все-таки движением по улице. Проехал обоз с мужиками, протрусили чьи-то господские сани. Подошел странник с длинной палкой в виде посоха, в черном подряснике поверх тулупа, в меховой облезлой шапке и с котомкой за плечами. Борода у него была клином, глазки узенькие, лицо сморщено, точно от природной гримасы, волосы

длинные.

– Чего сидите, чего ждете, людие? – проговорил он нараспев.

– А ты иди своей дорогой! – угрюмо ответил Кузьма.

– И пошел бы, братие, да ноги не слушают, отдохнуть хочется. Позвольте присесть с вами?

– Садись, нам все одно!

Странник уселся.

– Вы чьи же будете? – спросил он.

– Господские.

– Так. При своем барине живете, значит?.. А вот мы – люди вольные, Божьи, идем, куда знаем.

– Куда ж ты теперь идешь?

– В Сибирь, люди добрые.

– В Сибирь?

– А что ж? И там люди живут – и дурные, и хорошие. Много несчастных там, от родной стороны неволею отторгнутых. Все придешь, расскажешь им – глянь, кому и с родины весточку принесешь – рады!.. Ведь не все там каторжные разбойники живут, а бывает, что и смиренные люди неповинно обвинены да за вины других страдают. Иного засудят совсем не по своей вине, а по чужой, он и томится, несчастный. Только не легче от этого истинному-то преступнику бывает... Тоже, говорят, ведь по ночам снится разное... И на душе тоска и смятение, такое, братцы мои, смятение, что хуже каторги. Другой на эту самую каторгу с большой бы охотой пошел,

да только духа у него не хватает, чтобы покаяться, а что тут трудного? Перекрестился, пошел, повинился во всем, словно в воду сразу с головой бухнулся, а потом так легко и хорошо станет – целая гора с плеч свалится.

– Да замолчишь ли ты? – вдруг вырвалось у Кузьмы. – Чего в самом деле нюни разводишь, словно баба какая!.. И без тебя тошно!

– А чего мне молчать? – возразил странник, ничуть не смутившись. – Я правду говорю. Ты чего распалился вдруг? Нешто тебя это касается? А, впрочем, как знаешь... Я, пожалуй, и замолчу.

Но в глубине души и Кузьме, и Ивану хотелось, чтобы странник не умолкал, а говорил еще и еще. Однако он перестал говорить. Они оба тоже притихли, и оба уставились вперед, поникнув головами. Тяжело было у них на сердце.

В это время к дому доктора подъехало на рысях двое широких саней. В задних сидел секретарь графа Косицкого, а в передних, между двумя солдатами, – князь Михаил Андреевич.

Когда сани остановились у крыльца, конвойные помогли князю вылезти. На ногах у него звякали кандалы, и руки были заперты в поручни.

– Кого же привезли это? – спросил странник.

– Нет моей силы терпеть дольше! – решительно проговорил Кузьма и встал со своего места. – Нет моей силы!.. Так ты говоришь, – обернулся он к страннику, – что легко станет,

как покаешься?

Странник только наклонил голову.

– Ну, идем, Иван! – сказал Кузьма. – Не пойдешь – все равно выдам!

И скорыми шагами он скрылся в воротах.

Иван пошел за ним.

XXXIII

– Привез! – сказал секретарь, входя в комнату и потирая руки.

– Отлично! – одобрил Косицкий. – Где он?

– В прихожей, с конвоем. Прикажете ввести?

– Ну, конечно!

Секретарь юркнул в прихожую, и оттуда ввели князя в кандалах и поручнях. Косицкий поморщился.

– Снимите это, – сказал он.

Один из конвойных достал ключ из кармана и быстро отпер кандалы и поручни.

Князь Михаил Андреевич держался прямо, с высоко поднятой головою, смотрел открыто и смело, и всегдашняя улыбка освещала его лицо. По-видимому, он остался совершенно равнодушен к тому, что его освободили от цепей.

Гурлов опустил глаза; ему показалось, что князь не узнал его.

– Мы побеспокоили вас, – начал Косицкий со свойственной петербургскому чиновнику любезностью, – не по вашему делу, а во имя человеколюбия... тут лежит больной...

– Доктор, – проговорил князь, – сегодня утром впал в беспамятство...

– Мой секретарь вам уже рассказал, в чем дело?

– Я ничего не рассказывал, ваше сиятельство! – заявил

секретарь.

Гурлов, вспомнив рассказ Маши о том, как она видела сегодня Михаила Андреевича, почувствовал, что его сердце сжимается невольным трепетом.

– Вы хотите, граф, чтобы я помог ему? – спросил Михаил Андреевич, тихо улыбаясь.

– Если вы беретесь за это.

– Тогда я должен пройти к больному.

– Пожалуйста!

Князь, не ожидая, чтобы ему показали дорогу, направился в кабинет доктора и оттуда в спальню, точно расположение квартиры давно было ему прекрасно известно. За ним пошел Косицкий, за Косицким – все остальные.

Михаил Андреевич вошел в спальню. На кровати под белой простыней лежал вытянутый во весь рост черный доктор. Его лицо было бледно, глаза закрыты, губы крепко сжаты. Он казался мертвым. Неподвижность и бледность его тела и то, что лежал он в таком виде на кровати под простынею, производили жуткое впечатление. Он лежал теперь беспомощный пред князем Михаилом Андреевичем, которого преследовал всю свою жизнь.

Да, в течение долгих лет Михаил Андреевич терпел от него, этого единственного своего врага, так или иначе появлявшегося во время несчастий и испытаний и всеми силами старавшегося заставить князя, чтобы он выдал известные ему тайны. Ради этих тайн он преследовал Михаила Андре-

евича настойчиво, с невероятною изобретательностью.

И вот он лежал пред ним, и князь знал, что один лишь он в состоянии помочь ему. Стоило только сказать, что ничего нельзя сделать, – и враг будет уничтожен навеки и никогда не проснется от обуявшего его беспамятства, потому что это глубокое беспамятство постепенно перейдет в вечный сон смерти.

Но князь Михаил Андреевич, не колеблясь, подошел к черному доктору, положил ему руку на голову и застыл, весь поглощенный своим делом. Потом он несколько раз отвел руку, точно сбросил ею что-то невидимое, и черный доктор открыл глаза.

– Он ожил! – прошептал Косицкий.

– Он ожил! – повторил за ним секретарь.

Князь Михаил Андреевич, исполнив, что от него требовали, обернулся к двери спокойный и бесстрастный.

«Ну, что же? Ведите меня назад в тюрьму!» – как бы сказала его улыбка.

Черный доктор поднял руку и провел ею по лбу и глазам, как человек, только что очнувшийся от крепкого сна.

– Не беспокойтесь, – сказал князь Михаил Андреевич, – он теперь встанет, как ни в чем не бывало... Позовите к нему слугу, чтобы дали ему одеться. Оставим его! – и он вышел из комнаты.

Остальные, пораженные случившимся, повинувшись его обаянию, последовали за ним.

Слуги захлопотали у постели доктора, помогая ему одеваться.

Михаил Андреевич вышел в зал, где ждали его конвойные.

Тут в зале у дверей стояли гайдуки Кузьма и Иван. Как только показался князь в сопровождении Косицкого, его секретаря, губернаторского чиновника и Гурлова, они кинулись вперед и бухнулись на колена пред Косицким.

– Сиятельный граф, – заговорил Кузьма, – не держите вы неповинного ни в чем князя в тюрьме! Мы – убийцы, мы и отвечать должны. Мы убили князя Гурия Львовича по наущению Созонта Яковлевича, который повесился. Покойный князь прогнал его, злого человека, тот со злости и извел его, а мы были у него в подчинении, и заставил он нас себя слушаться. Мы виноваты во всем, и, кроме нас, никого нет виновных.

Гайдуки покаялись во всем. Они рассказали, как служили у Гурия Львовича при его страшном подвале, где были у него казематы и пытки, как туда были заключены и заперты на замок Гурлов, Чаковнин и Труворов и как в эту же ночь пришел к ним княжеский секретарь Созонт Яковлевич и стал их уговаривать известить князя. Они послушались, потому что привыкли слушаться Созонта Яковлевича и боялись его больше, чем князя.

Он провел их по потайной лестнице в спальню Гурия Львовича, там они сонного задушили его, а потом облили

ламповым маслом, еще каким-то снадобьем и зажгли, думая произвести пожар и тем скрыть преступление. Но сгорел только труп князя.

Всем распоряжался Созонт Яковлевич, который никогда не имел никаких сношений ни с князем Михаилом Андреевичем, ни с Гурловым, ни с Чаковниным, ни с Труворовым, а, напротив, всегда относился к ним недружелюбно, даже враждебно, так что никак нельзя было заподозрить их в сношении с ним.

Дело об убийстве Каравай-Батынского получало совершенно новое освещение и притом такое, которое делало его вполне ясным, простым и совершенно законченным. Признания гайдуков были тут же записаны, и стало очевидно, что князь Михаил Андреевич, к обвинению которого не было, собственно, никаких улик, кроме личных предположений графа Косицкого, был совершенно непричастен и заподозрен напрасно.

Теперь Косицкому стало стыдно за эти свои предположения. Ему захотелось поскорее исправить совершенную им несправедливость, и он обратился к секретарю и губернаторскому чиновнику с вопросом, законно ли будет, если отпустить, не медля, князя Михаила Андреевича на волю.

Оба они в один голос сказали, что для формального его очищения требуется особое постановление, но что граф может освободить Михаила Андреевича досрочно, взяв его как бы на свои поруки, и дать об этом приказ хотя сию минуту в

силу особой власти, которою он облечен специально по этому делу.

Косицкий сейчас же велел заготовить приказ и, обернувшись к Михаилу Андреевичу, с особым удовольствием произнес:

– Вы свободны, князь. Очень рад, что могу объявить вам это.

Гайдуки были арестованы и отправлены в кордегардию с конвоем, который сопровождал сюда князя.

Всем стало тотчас же как-то легче и весело на сердце. Гурлов обнял князя и со слезами радости приветствовал окончание его дела. Секретарь и губернаторский чиновник подошли поздравить Михаила Андреевича, и сам Косицкий, оставив официальный тон, приветствовал его, стараясь выказать всю свою любезность.

В дверях появился черный доктор, вполне бодрый, здоровый и, по-видимому, чувствовавший себя отлично. Он подошел к Михаилу Андреевичу и молча раскланялся с ним, а затем поздоровался с остальными.

Все были, в сущности, очень рады и довольны, и потому именно водворилось принужденно-неловкое молчание, как обыкновенно бывает после только что состоявшегося примирения, закончившего вызов на поединок. Каждому из присутствовавших хотелось сказать что-нибудь подходящее к общему настроению, но отнюдь не такое, что могло бы напомнить недавно пережитое; однако, обыкновенно ничего,

кроме самых банальных слов, не приходит в голову в это время.

Так было и теперь. Секретарь сказал, что на дворе потеплело, и сейчас же замолк, потому что это могло напомнить, как он только что вез Михаила Андреевича. Косицкий заявил, что получил верные сведения из Петербурга, что государь собирается в Москву. Все этому почему-то очень обрадовались.

Один Михаил Андреевич сидел совершенно спокойно, молчал и не выказывал никакого желания завести ненужный разговор, как человек, который привык молчать и говорить только тогда, когда это надо.

Наконец граф Косицкий встал и начал прощаться. За ним поспешно поднялись секретарь и губернаторский чиновник.

На прощанье Косицкий предложил князю, у которого, вероятно, ввиду его столь неожиданного освобождения, нет в данную минуту пристанища в городе, поместиться пока у его секретаря, так как дом, принадлежащий в городе Каравай-Батынскому, занимал сам Косицкий. Князь поблагодарил и сказал, что пристанище у него найдется. Косицкий попросил его заехать завтра для соблюдения формальностей, великодушно предоставил Михаила Андреевича самому себе и уехал вместе с секретарем и чиновниками.

XXXIV

Когда Михаил Андреевич с Гурловым остались одни у доктора, князь поднялся со своего места и строго, как судья, требующий отчета, спросил своего врага:

– А господин Чаковнин? Где он у вас? Потрудитесь привести его.

Доктор, не возражая, встал и вышел из комнаты.

Гурлов сидел, боясь шевельнуться. Ему показалось как будто сверхъестественным, что Чаковнин находился у черного доктора и что он не подозревал об этом, а вот Михаил Андреевич знал, как знал и все на свете.

И действительно, доктор привел Чаковнина из внутренних комнат.

– Ничего не понимаю, – говорил Чаковнин, размахивая руками, – где я и как попал сюда, и зачем я здесь... Батюшки! Князь, господин Гурлов! И вы здесь? Оба на свободе?.. Что за чудеса?..

– Спасибо вам и Труворову, – сказал князь.

– Помилуйте, за что же спасибо? Мы с Труворовым все больше спали – в тюрьме спали, у Ипатьевой спали, у молодцов в лесу спали, правда, один Труворов, зато здесь я выспался и попал сюда сонный, сам не знаю как... Ну, что ж, если вы на свободе, значит, гайдуки мои сознались.

– Сознались, – подтвердил князь.

– Ну, значит, все отлично! Теперь надо только высвободить Труворова. Мы, князь, махнули порядочную сумму, чтобы освободить вас – сто тысяч!.. Эти деньги у Гурлова в Вязниках спрятаны. Мы знали, что вы не пожалеете их.

– Мне этих денег не жаль! – проговорил князь, улыбнувшись в ответ. – Надо лишь скорее отправиться за ними в Вязники и отвезти их в лес, а то Никита Игнатьевич заждался, должно быть, на мельнице...

«Он и это знает!» – удивился Гурлов. Черный доктор стоял в продолжение разговора с опущенной головой.

– Зачем вам терять время на поездку в Вязники? – тихо произнес он. – Я могу сейчас ссудить вам нужную сумму.

Чаковнин разинул рот от удивления – откуда доктор мог располагать такими большими деньгами.

Доктор, словно поняв его сомнение, пригласил его пройти в кабинет и там отворил железный, привинченный к углу, шкаф, полный мешков с золотом.

– Вы видите, – сказал он, – что у меня хватит средств и на большие расходы!

– Да что же? Вы делаете сами золото? – невольно вырвалось у Чаковнина.

– Может быть! Вот два мешка по пятидесяти тысяч рублей червонцами. Берите!

– Благодарю вас за доброе дело! – сказал Чаковнин, принимая мешки.

Доктор улыбнулся и, не скрывая насмешки, сказал:

– Вы думаете, что дать деньги – доброе дело? Деньги – всегда зло и всегда в конце концов принесут его. Они могут дать только временное благополучие. Впрочем, большинство, которое слепо, думает иначе. Вы сейчас едете? Ваша тройка у меня на конюшне.

Чаковнин с Гурловым решили, несмотря на вечер, ехать сейчас же. Князь одобрил это.

– А как же вы? – спросил его Гурлов.

– Я останусь пока здесь, у доктора.

– Ох, не оставайтесь! – невольно проговорил Гурлов, но сейчас же вспомнил, что напрасно предупреждать князя в чем-либо – тот, очевидно, знал лучше всех, что ему делать.

– Поезжайте, поезжайте!.. – сказал ему князь. Тройка была подана, и Гурлов с Чаковниным собрались.

– Нам надо заехать к Ипатьевой, – сказал Сергей Александрович, когда они вышли на крыльцо. Во-первых, мне нужно повидать Машу, во-вторых, надо найти Тараса – он исчез у меня куда-то, и я его не дождался...

– Какого Тараса?

– Да вот того самого, что предводительствует в лесу.

– А вы его откуда взяли?

– Был там, видел Труворова и вернулся с Тарасом, чтобы разыскать вас и гайдуков. Я видел одного из них здесь у доктора.

– Когда же вы успели?

– Сегодня с утра.

– Ну, катавасия! – решил Чаковнин. – Но во всем этом разбираться пока нечего; однако я здесь, видно, долго спал – забодай меня нечистый!

У крыльца к ним подошел странник. На дворе уже темно.

– Люди добрые, пожертвуйте что-нибудь, – запросил странник.

Гурлов достал денежку и кинул ему.

– Мало! – сказал странник.

– Неужели? – усмехнулся Чаковнин.

– Право, мало, мне куда больше следует.

Гурлов был в таком веселом расположении, что достал еще денежку.

– Ну, вот тебе еще за храбрость!

– И этого мало! – решил странник.

– Да ты думаешь с нами шутки шутить? – проговорил Чаковнин, начиная сердиться.

– Ох, господа добрые, – закачал головою странник, – вы-то вовсе не знаете, что я думаю, а вот что вы думаете – это мне известно.

– Вот как! – рассмеялся Гурлов. – А ну-ка, скажи, что мы думаем?

– А то вы думаете, что я – странник, а на самом деле я – Тарас, вам известный!..

И он вдруг расправил приглаженную клином бороду и распустил с лица корчившую его гримасу, отчего глаза у него

делались узенькими, и стал чернобородым, глазастым Тарасом.

– О, чтоб тебя! – не удержался Гурлов. – Это зачем же такая машкерада?

– Надо было молодцов до точки довести. Иначе ничего не поделаешь, барин. Что ж, теперь готовы прибавить к денежкам рублики? Говорил я, мало!..

– Готовы! – сказал Гурлов.

– Ну, едем в лес!

XXXV

Когда князь Михаил Андреевич остался один на один с черным доктором, тот повел плечами и обратился к нему:

– Ну, князь Михаил Андреевич, теперь пришла пора подвести нам счеты за всю нашу жизнь!

Михаил Андреевич, легко читавший в мыслях обыкновенных людей, единственно, у кого не мог временами провидеть эти мысли – у черного доктора. И теперь он не мог узнать сразу, что значили эти слова черного доктора.

– Да, пришла пора, – повторил тот, – и пришел конец твоим испытаниям. Они были долги и тяжелы, но теперь кончены. Вспомни – за границей, куда ты отправился на свои поиски, ты был испытан бедностью, физическими лишениями, потом нравственными испытаниями. Тебя мучила жажда славы, почестей, ты боролся с честолюбием, терпел, наряду с душевными, физические мучения и болезни. Ты перенес это. Затем в России ты был испытан еще сильнее – богатством. Ты остался и в богатстве непоколебим, оно не испортило тебя. От богатства ты был брошен снова в несчастье, в тюрьму. Ты равнодушно перенес это, даже сам просил арестовать тебя. И, несмотря на все, что терпел, ты остался непоколебим в главном условии мудрости – сохранении тайны, хотя я обращался к тебе много раз в жизни с этим. Ты не выдал этой тайны даже за то, чтобы узнать, что дороже тебе

всего на свете! Ты не забыл ни на минуту, что знания, сообщенные тебе, должны служить единственно на добро. Ты сделал подвиг, победив себя и остановив сон загипнотизированной, несмотря на то, что мог узнать от нее, сонной, важное для себя – сожжены ли документы? Наконец ты был испытан отчаянием, силе которого не поддаются только исключительные люди. Когда тебе было доказано, что документы сожжены, ты не поверил очевидности, а продолжал верить все-таки своему знанию; очевидность не могла разубедить тебя. Во всех твоих испытаниях я был участником, и то зло, которое терпел ты в них, причинял тебе я, соблазняя и толкая тебя к падению. Но ты сам не хотел зла и своей волею побеждал себя и свои сомнения. И всякое зло обращалось тебе на пользу, воля твоя росла, а вместе с нею совершенствовались знания и развитие духа. И вышло, что зло принесло тебе добро. Без этого зла, которое считается слепыми, непросвещенными людьми лишь таким, не был бы ты тем, что есть. Слабые люди жалуются, клянут судьбу и ропщут на Бога за кажущееся им будто бы в жизни зло, не понимая, что от их собственной воли зависит не поддаваться этому злу. Ты явил на себе пример мудрого человека. Я был назначен для испытания тебя и должен был испытывать... Теперь ты можешь понять меня!..

И черный человек сделал знак высшей степени посвящения.

Михаил Андреевич встал, поцеловал его и произнес:

– Брат мой, благодарю тебя.

– Теперь, – продолжал черный человек, – вспомни, что я – тот, который на глазах у тебя одним ударом сломал полосу железа!

С этими словами он протянул связку документов.

Князь взял их, распечатал и углубился в чтение. Потом он поднял голову и остановил взор на черном человеке.

– Ты нашел то, что искал, – снова заговорил тот, – но это – не известия о твоём сыне. Ты никогда не был женат и у тебя никогда не было сына. Все, что относилось к ним, ты пережил в грезах. Оттого тебе казалось, что ты жил с женою отдельно от всех. У вас не было знакомых, никто не знал ее – и не было ее смерти, не пропадал сын у тебя, и оттого ты не мог найти следы его... Это была мечта. И жена твоя, и любовь к ней обозначали науку, тайные знания и стремления к ним. Ее звали Розой. Теперь ты знаешь из этих бумаг, что такое Ро + за!.. Теперь ты посвящен в величайшие знания и принадлежишь к числу девяти высших и мудрейших, само существование которых было для тебя таинственно. Теперь ты один из девяти!..

И черный человек склонил пред ним колени, как пред человеком, который выше всех остальных людей.

Михаил Андреевич поднял его и спросил:

– Кто же ты?

– Я?.. Я – то зло, тот ноль, то отрицание, которое из вас девяти (теперь ты принадлежишь к ним), представляющих

собою добро и управляющих судьбою, делает десять и служит тою целью, в которую попадают стрелы вашего добра и без которого они неслись бы бесплодно в пространство. Вы – свет, а я – тень; не будь этой тени – не был бы виден свет! Вот кто я, черный человек!

* * *

Князь Михаил Андреевич не скоро вернулся в Вязники. Он отправился за границу и там участвовал в таинственном замке в съезде великих девяти,² из которых узнал восемь

² Братство розенкрейцеров, наиболее симпатичное из всех оккультных обществ и наиболее таинственное. Известно о нем очень мало. Время основания его гораздо древнее на самом деле, чем принято считать это. По удивительной цельности и захватывающей поэзии его учения можно предположить, что в течение многих веков над этим учением работало много поистине талантливых людей. Розенкрейцеры считаются преемниками знаний, которые были открыты египетским жрецам. Название общества происходит от слова «роза» и «крест» (Kreuz). Оба эти символа получили свое значение в отдаленные от нас времена. Под царственным цветком «роза» подразумевались дары науки, которые открывались адепту в награду за его труды. У Апулея в его повести «Золотой осел» человек, обратившийся в этого осла, получает человеческий облик, когда ему удастся отведать лепестков розы. Отыскивание этой розы служило темой также многим средневековым рыцарским романам. Эмблема креста считалась священной еще в древнем Египте. Ключ к загадке сфинкса имел форму креста. В XVIII веке, в особенности в конце его, когда господствовало в умах мистическое направление, действовало много оккультных обществ. Среди них считались наиболее посвященными в тайны природы розенкрейцеры. Низшие члены общества знали только двух братьев, т. е. старшего и младшего; остальные члены общества были неизвестны друг другу. Управлялось братство советом девяти, из которых

остальных. И они узнали его.

Ровно через год и три дня, как он сказал дворецкому при своем аресте, князь приехал в свое имение и застал там Чаковнина, Труворова и Гурлова с Машей вполне довольными, жизнерадостными и счастливыми.

один был первый между равными – великий розенкрейцер. В настоящее время от общества остались только полные поэзии предания его. *(Примеч. авт.)*